



Проза

**Валерий
СДОБНЯКОВ**

Нижний Новгород

Сдобняков Валерий Викторович. Родился в 1957 году на станции Нижняя Пойма Нижнеингашского района Красноярского края. Создатель и главный редактор журнала «Вертикаль. XXI век». Автор тридцати книг прозы, публицистики, критики. Обладатель многих всероссийских и международных литературных премий. Награждён государственными наградами: медалями Пушкина и В память 800-летия Нижнего Новгорода, Благодарностью президента РФ, а также Почётной грамотой Нижегородской области и Почётным знаком главы Нижнего Новгорода. Секретарь Союза писателей России. Председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

ГАУПТВАХТА

Повесть

1

До того, как попал на гарнизонную гауптвахту, у меня прошла почти целая армейская жизнь солдата-призывника – полтора года из двух. Случилось это летом 1977 года.

Призвали же меня в ряды Советской Армии с выдачей военного билета в крепких красных коленкорových корочках, на лицевой стороне с названием моей страны и гербом, что разделял надпись «СССР» ровно пополам, ниже внушительно выдавлено «ВОЕННЫЙ БИЛЕТ», а ещё ниже и значительно меньшим шрифтом «министерство обороны», в ноябре 1975-го.

Вскоре в документе, как оказалось важнейшем на всю оставшуюся жизнь (кто и где, какие только органы и организации по всяким поводам и без повода у меня не запрашивали эту красную гербастую книжечку), появилась первая официальная, скреплённая гербовой печатью запись: «Призывной комиссией при Канавинском районном военном комиссариате г. Горького признан годен к строевой службе, призван на действительную военную службу и направлен в часть 14 ноября 1975 года. Военный комиссар подполковник Коршунов».

Подпись у подполковника, надо отметить, была вольной, размашистой.

Вообще, почти все записи в билете утверждались именно гербовыми печатями. Разве что только на одном листе, где стояли цифры, вписанные чёрной ручкой: «рост 180, окружность головы 56, размер противогАЗа 2, размер одежды 48/5, размер обуви 42», обошлось без таковой. Дальше же на страничках: «Прохождение действительной военной службы» (смены воинских частей, в чьих казармах мне приходилось жить), «Вооружение и техническое имущество» (номера карабинов СКС, которые за мной числились, и противогазов), «Военную присягу принял» (5 декабря 1975 года), «Присвоение воинских званий и классности по специальности» (рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант) – везде красовался отпечаток с гербом Союза Советских Социалистических Республик – колосья, увитые лентами, на которых на языке всех союзных республик выполнена надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Поначалу меня должны были забрать на три года в Петропавловск-Камчатский служить на подводной лодке, но что-то в шерстяных военкоматовской машины хрустнуло, треснуло, перескочило, и в итоге я оказался в учебной части радиотехнических войск Московского округа ПВО, в Богом хранимом старинном городе Ельце Липецкой области.

Изначально, собственно, туда меня и намечали. В подводный флот я должен был попасть из-за своей нерадивости и строптивости – в виде наказания.

Дело в том, что ещё до призыва за полгода нас, молодых ребят, недавно закончивших школу, но не поступивших в высшие учебные заведения, начинали обучать какой-либо воинской специальности. Выбор оказывался небольшой и полностью исключающий добровольность. За нас всё решал военкомат.

Работать после окончания школы я устроился на завод аппаратуры связи имени Попова, решив, что, отслужив два года по защите Родины, буду поступать в институт на экономический факультет, готовящий «руководящие кадры». И тут эта неожиданная предармейская учёба.

Кто в школьном обучении не поднялся выше восьмого класса – направлялись в автошколы ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации, флоту). С десятиклассным образованием – приобретать сугубо армейские специальности оператора радиолокационной станции или рулевого-сигнальщика. Я не хотел быть ни тем, ни другим.

Заниматься начали холодной, промозгой, дождливой осенью в подвале на улице Интернациональной. Там стояло какое-то допотопное оборудование с экранами слежения, по которым курсанты (так нас называл оставной подполковник, руководивший предармейской подготовкой), должны учиться сопровождать воздушные цели, различать их, передавать координаты командирам и ещё чего-то с ними делать. После работы на заводе учеником слесаря механосборочных работ, я должен был тащить в этот подвал, сидеть часами за учебным столом, конспектировать за подполковником, который рассказывал о неведомых мне «михохерцах», «хихохерцах». Мы за глаза так его и прозвали: «Михохерц-Хихохерц».

Подполковник решил сразу внедрить в наши ряды воинскую дисциплину, что мне категорически не понравилось. К тому же всё это обучение было для меня скучно, нудно, и потому после нескольких занятий в подвал ходить я перестал.

Не то чтобы уклонился от призыва в армию, хотел как-то от неё «откосить». Нет, такого не было. Тут другое – сказалось полное нетерпение какого-либо руководства над собой, командования, насилия над свободой. Я рос вольным и вполне одиноким ребёнком. Иными словами в общественном понимании был недисциплинированным и нерадивым. Потому посчитал, что могу отказаться и от претензий военкомата на мою свободу.

Но, как оказалось, не так-то просто от них отделаться. Это когда появился на свет, родители тебя растили, одевали-обували, беспокоились о твоём здоровье, обучении, воспитании – тогда военкомат не интересовало, на какие средства всё это происходит, какими усилиями достигается.

Эта организация считала, что отныне, раз ты выжил, набрался сил, выучился, то по праву принадлежишь всецело ей. Потому старший лейтенант, что отвечал за предармейское обучение, решил устроить мне «весёлую жизнь».

Как звали это «действующее лицо» моего повествования, за давностью лет не помню, потому присвою ему стандартную фамилию – Иванов. Нас судьба ещё однажды сведёт с ним при самых неожиданных обстоятельствах армейской службы.

Этот Иванов со мной измучился. Звонил домой, проверял, почему я не являюсь на занятия, грозил... А потом вдруг умолк, словно затаился. Я было обрадовался, да не тут-то было. С наступлением лета он вновь приступил ко мне с более настойчивым контролем, определив в группу

рулевых-сигнальщиков, которая занималась на втором этаже старого дореволюционного здания на Нижневолжской набережной недалеко от Речного вокзала.

В дни обучения нас освобождали от работы на заводе с сохранением заработной платы. Приходить следовало утром. Я нет-нет, да просыпал, и тогда Иванов, как отец родной, звонил домой, будил, подгонял на занятия – но вполне доброжелательно, даже сочувственно.

Для обучения на рулевых-сигнальщиков собралась совсем другая группа парней – более вольная, разбитная, что ли. В перерывы гурьбой ходили на опустевший внутренний рыночек, что располагался во внутреннем дворе-колодце старинного квартала, состоящего из трёхэтажных домов. Тут в углу приткнулась малозаметная будочка-пивнушка, в которой мы позволяли себе попить кружечку-другую холодного, горьковатого и слегка пьянящего напитка. Затем возвращались в класс на занятия – где пытались научиться морзянке, передавать тексты сигналами прожектора, разноцветными флажками и прочим флотским премудростям.

К тому времени, в марте 1975 года, там же на заводе я вдруг решил вступить в ряды ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи) – то есть в комсомол. Цеховой активист этой организации был немало удивлён тем обстоятельством, что я не являюсь членом ВЛКСМ.

В те годы вся молодёжь поголовно – комсомольцы. В школе, в девятом классе, остатки неокосмоленных подростков нашей школы были общим скопом приняты в ряды этой организации (лучшие и самые достойные ещё в 7-8 классах получили билеты с профилем В.И. Ленина на обложке и шестью советскими орденами над номером «Комсомольского билета» внутри на первой странице), для чего их собрали около школы и повезли в райком. У меня в этот день, конечно же, нашлись свои более важные дела – я уехал играть в хоккей, и потому оказался единственным из класса, кто не получил красной книжечки. Классная руководительница оказалась, по-моему, взбешена таким несознательным поступком (который и я сам разумно объяснить не мог – блажь какая-то пришла в голову, говорю же, характер был тот ещё), махнула на меня рукой, как на нечто пропащее, и оставила в покое до того времени, как пришлось писать на меня характеристику по окончании десятого класса.

Теперь этот документ хранится в моём фонде областного архива, а до того я однажды прочитал его одной старой учительнице, и та честно созналась, что подобных оценок в характеристиках учеников за время своей долгой педагогической практики не встречала. Я же подтвердил – тут дело не в классном руководителе, а во мне – столь трудным и не-сносным в общении подростком я был. Теперь, конечно, каюсь, да чего уж там...

Но на заводе вдруг согласился стать комсомольцем.

Не помню всю процедуру приёма. Она, наверняка, была довольно формальной. Осталось в памяти (да и фотография на комсомольском билете тому подтверждение), что когда пришёл в заводской комитет фотографироваться на удостоверение, то местные активисты ахнули: одет в красные обтягивающие джинсы, короткую синюю нейлоновую японскую куртку, вязаную кофту с большим круглым значком на груди (вырезанный из дореволюционной открытки или иконки лик Богородицы с Младенцем), густые волосы намного ниже плеч...

Глава комитета сказал, что так фотографироваться для комсомольского билета никак нельзя. Снял с себя пиджак, я его накинул и оказался запечатлённым на многие десятилетия вперёд: длинные тёмные вьющиеся волосы спускаются на воротник гражданского чёрного пиджака – полное отторжение одного другим.

Но вернусь к обучению на рулевого-сигнальщика.

В завершении курсов с нами провели на берегу Оки, ближе к Малиновой гряде, где выстроены лодочная станция и яхт-клуб, практиче-

ские занятия на многоместных шлюпках. Командой гребли, взмахивая тяжеленными вёслами, выполняя необходимые нормативы, поперёк реки, затем возвращались к берегу. После нескольких дней подобного обучения нас оставили в покое. И я, честно говоря, совершенно забыл о прохождении этих курсов. Вплоть до призыва, где на сборном пункте на внутренней арене стадиона «Локомотив» нас обстригли налысо, казалось, навечно разлучив с близкими и родными. Затем завели в автобусы и повезли в город Дзержинск. Вот там, в бурлящей массе свежённых со всей области парней, после прохождения голым по всяким кабинетам, осмотренный и обслуженный всевозможными врачами, я сначала узнал, что еду на Камчатку, а потом, пока ночью пытался уснуть на жёстких деревянных нарах, был вдруг переведён в команду, следующую в Липецкую область.

И началась моя армейская жизнь...

2

Учебная часть встретила неприветливо. Ночью нас высадили из плацкартных вагонов пассажирского поезда на платформу елецкого вокзала и строем повели в казарму дореволюционного вида, выстроенную из старинного красного кирпича.

Не вспомню сейчас, каким было первое моё утро в армии. Знаю только, что непривычно ранним, суетливым в одевании от подгоняющих сержантов – командиров взводов. Строем на улицу, в туалет, которым оказался здоровенный холодный барак или сарай, нестерпимо воняющий хлоркой, с нарезанными в полу дырками для «отправления естественных надобностей». Ощущалось в этом что-то нестерпимо унижительное и стадное, не совмещающееся с человеческим достоинством. Но ко всему этому надо было привыкать.

Затем получение на складах армейского обмундирования, баня, где призывники снимали с себя всё то, что ещё как-то связывало их с вольной жизнью, домами, матерями, и переодевались в казённые кальсоны, никогда до этого не носимые, неумело наматывали на ступни портянки, впихивали ноги в кирзовые сапоги, застёгивали на себе топорщащиеся под ремнём ещё не обжитые, не обмятые телом шинели.

Всё это не очень отчётливо запомнилось. Я был угнетён происходящим – таким не моим, чуждым.

До принятия присяги над нами, можно сказать, издевались – многочасовая строевая подготовка каждый день. Холодно, ноги, обмотанные тонкими «летними» портянками (потом узнал, что существуют и «зимние», более тёплые), мёрзнут. Эта муштра казалась несусветной, разумно не объяснимой глупостью. Только немного позже я начал догадываться – ведь как-то эти несколько сотен, если не тысяч призывников нужно было удержать в повиновении, не дать им опомниться, расслабиться, убедить, что два года их предстоящей жизни – это только подчинение.

Много национальностей собрано в огромной старинной казарме. От таджиков, которые с трудом понимали и говорили по-русски, до греков. Таджики, узбеки, представители других народов Средней Азии вечерами, когда позволяли обстоятельства, собирались своим кружком, о чём-то говорили, пели тоскливые песни на своём языке. По нашей просьбе показывали, как правильно нужно есть плов: садились на пол, скрестив ноги, зачерпывали из воображаемого блюда щепотью плов и, начиная где-то от локтя, вёли губами к ладони, собирая по руке воображаемый стекаемый бараний жир.

Кормили молодых солдат отвратительно. То, что изо дня в день давали на завтрак, обед и ужин, назвать едой язык не поворачивался. В больших котлах готовить качественно на такую прорву народа, может, и правда сложно, но не до такой же степени!

Тут сказывалось вечное безразличие хоть немного ставших властью людей к тем, кто попадал в их подчинение. На протяжении всей своей жизни я буду наблюдать одно и то же, бесконечно находя подтверждение тем моим горьким открытиям.

Но вот закончена бессмысленная муштра, принята присяга, начались однообразные будни учебного подразделения: наряды на кухню и в караул, учёба в классах, конспекты на политзанятиях, практические занятия на полигоне за городом, где высились антенны радиолокационных станций, высотомеров и дальномеров, стояли фургоны с аппаратурой.

Ездить на полигон мне нравилось.

Во-первых, это вносило разнообразие в солдатскую жизнь: хоть и на короткий срок, но мы убывали из расположения части за металлические ворота с красной звездой в тёплом маломестительном автобусе «ПАЗ» или на грузовой машине «ЗИЛ», в кузове, закрытом тентом, сидя на лавках, прикреплённых к бортам. Можно было видеть свободно ходивших по тихим провинциальным улицам людей, вывески немногочисленных магазинов, афишу у нового кинотеатра.

Удивительно, как быстро начинаешь ценить эту естественную человеческую свободу, которой сам недавно жил, совершенно не понимая её прелести – идти туда, куда захочешь, когда захочешь спать и просыпаться, чего хочешь есть, а не только то, что тебе навалит в побитую, с погнутыми краями, скользкую от не отмытого жира алюминиевую чашку здоровенным черпаком из бездонного котла нерадивый повар. Даже есть не только ложкой, а чередуя это занятие, при необходимости, вилкой – и то оказалось недоступным за закрывшимися за моей спиной армейскими воротами.

Во-вторых, в вагончиках за шкафами, в густом тёплом полумраке можно было выгадать минут двадцать, чтобы вздремнуть. Я в первые месяцы службы катастрофически не высыпался. Стоило только сесть на табуретку около своей кровати (табуретка предназначалась для того, чтобы на ночь на неё аккуратно складывать форму, около неё ставить сапоги), облокотиться о её решётчатую спинку, как глаза сами закрывались. Металлические кровати с проваленной сеткой двухъярусные. Я спал внизу. Тумбочка между кроватей на четверых одна.

Но главное – на полигоне была своя небольшая столовая, обслуживающая человек двадцать солдат охраны и специалистов по работе на РАС. Там же кормили и нас. Как же вкусна была всё та же, не лезшая в горло в части, самая обыкновенная перловая каша. После той бурды, которой безжалостно портили наши молодые желудки в казарме, этот обед казался ресторанным от лучшего повара в округе.

Зимой, прежде чем приступить к занятиям, а то и вместо них, нам приходилось расчищать подходы к станциям от наметённого снега. Сугробы невиданной высоты. По открытому полю ветер гнал и гнал волны сыпучего, колючего морозного крошева. Спрятаться, укрыться от него не представлялось никакой возможности.

Только что очищенные проходы тут же, буквально на наших глазах, вновь заметало, и приходилось повторять уже проделанную работу. Но мы молоды, азартны, и эта борьба со снегом только заражает дополнительной энергией. Вообще в армии, особенно в учебной части, это желание «совершить подвиг» как-то особо жило в моём сердце. Нельзя забывать, на какой литературе, на каких фильмах и спектаклях, на каких примерах подвигов русских солдат во время Великой Отечественной войны дети Советского Союза воспитывались.

Кстати о литературе...

3

Я не упоминал, но незадолго до призыва в Вооружённые силы СССР совершенно неожиданно для себя начал писать, сочинять в блокноте нечто вроде путевых заметок или рассказа. Откуда это взялось во мне,

что за блажь пришла в голову – то невероятная и непостижимая тайна. Даже моя учёба на курсах рулевого-сигнальщика давала какие-то сюжеты для «пробы пера».

Одним из первых заданий нашего взвода, как только мы поселились в казарме, было написание «Боевого листка». Бланк этого листа уже отпечатан типографским способом, надлежало только заполнить его письменами, рассказывающими об успехах взвода в боевой и политической подготовке, о свершённых нами замечательных делах в укреплении обороноспособности горячо любимой советской Родины.

Встал вопрос – кто этот «Боевой листок» будет готовить. Охотников не нашлось, и я, с ещё одним паренёком, без особого внутреннего сопротивления, взялся за его написание. Придумывал текст, паренёк аккуратно его переписывал на бланк (мой почерк как был тогда, так остался и сейчас – ужасающим).

Довольно долго что-то мудрили в Красном уголке казармы. Вечером дежурным по роте заступил замполит, капитан Масоить – это одна из немногих фамилий, которую я с тех пор сумел запомнить. В канцелярии (комната для офицерского состава) он принял нас, заставил прочитать написанное, остался текстом недоволен и начал его править. Это была первая редактура в моей жизни. Как и «Боевой листок», первой «публикацией», написанным текстом, который, кроме меня, прочитал ещё кто-то.

Итак, капитан взял в руки шариковую ручку, смело исправил первое предложение, добавив в него что-то о значении решений последнего Пленума ЦК КПСС... и задумался. Дальше правка пошла с трудом. Первый абзац оказался довольно густо исчерканным, но, понимая, что ничего путного с внесением исправлений в текст не получается, велел листок оставить ему для повторного прочтения, позже зайти и забрать новую редакцию Боевого листка. Прошло время, я захожу. Вижу мой листок, на котором нет живого места. Измученный капитан машет рукой и говорит, чтобы писали заново сами.

Больше ни разу «Боевые листки» на его утверждение я не носил. Хотя до самого завершения службы в учебном подразделении написал их штук пятнадцать.

Вот и потом, десятилетия спустя, с удивлением наблюдал, как тяжело поддаются редактуре чужой рукою мои статьи и иные тексты. От «инородного» вмешательства что-то в них нарушается, пропадает, они мертвеют. Почти всегда это видел, понимал и тот, кто их редактировал.

С раннего детства я полюбил чтение. Вернее всего отсюда и родилась во мне тяга к писательству. И трепетное преклонение перед теми, кто это чудо – книгу – создавал.

В первых классах ходил в центральную городскую библиотеку на улице Советской. Поднимался по крутой лестнице на верхний этаж, где выдавали книжки самым маленьким читателям. Именно там познакомился с «Приключениями капитана Врунгеля», многие из которых помню до сих пор. Это тогда меня потрясла книга «Незнайка на Луне» Николая Носова, и понимание капиталистической системы хозяйствования запомнил на всю оставшуюся жизнь. Став немного постарше, в читальном зале, в который нужно было подняться на второй этаж уже из другого, главного подъезда, прочитал о жизни доисторических кровожадных гигантских животных, обитателей «Таинственного острова», придуманного Артуром Конан Дойлем.

В казарме томился без чтения.

Первой книжкой, которой сумел утолить этот, становившийся невыносимым, голод (её привёз с собой один паренёк, который мне её затем подарил – до сих пор с благодарностью храню этот томик с довольно потрёпанной обложкой), был сборник повестей и рассказов Василия Макаровича Шукшина «Там, вдали», выпущенный издательством «Советский писатель» в 1968 году.

В части оказалась неплохая библиотека, но чтение солдатами книг офицерским составом категорически не приветствовалось. Даже более того – чаще всего вызывало такую реакцию:

– У тебя время свободное? Тогда учи «Устав». После проверю.

Приходилось читать тайком, в редкие свободные минуты. Так познакомился с удивительными записками путешественника из Австралии, ловца крокодилов; книгой воспоминаний американского специалиста по диверсионной работе, инструктора по подготовке специальных подразделений «зелёных беретов»... Были и ещё какие-то мною прочитанные книги – сейчас содержание уже не помню, потому что всё осваивалось урывочно, как нечто запретное.

Один или два раза мне давали на несколько часов увольнительную в город. По возвращению в часть всех вернувшихся из увольнения проверяли – не выпил ли спиртного, не загулял ли «на воле». Я не помню, где и с кем проводил свободные воскресные часы в Ельце, только сохранился в памяти местный книжный магазин, в котором приобрёл книжку советского дипломата Леонида Кутакова «Вид с 35 этажа» – именно там, в здании Организации Объединённых Наций (ООН), в США, в Нью-Йорке располагался департамент по политическим вопросам и делам Совета Безопасности, которым он руководил, как заместитель У Тана – генерального секретаря ООН.

Представьте каково было мне, находящемуся в захолустном Ельце, жившему казарменной жизнью, где в помещении наверно ещё дореволюционной постройки на металлических койках одновременно спало человек сто, прочитай на первых страницах книги о самолёте «Боинг-707» бельгийской авиакомпании, прилетающем в аэропорт имени Кеннеди, о многоярусных переплетениях автострад, когда машины едут одновременно в разных направлениях над и под главной дорогой...

Должен признаться, что отправляясь служить в ряды Советской Армии, я прихватил с собой маленькие фотографии «The Beatles», а также снимки своего домашнего бара, где стояли красивые зарубежные бутылки: кубинский ром, шотландские виски, вьетнамский ликёр, дранцузское «Мартини»... на заднем плане у стенки блоки сигарет «Winston», «Marlboro», «Filip Moris»... Всё это в 1975 году в закрытом областном городе, а не в столице, было большой редкостью. Из этого можно понять, чем в те далёкие годы была забита моя голова.

Дежурный офицер с некоторым изумлением повертел книгу в руках и всё-таки вернул, не найдя в её изобретении явного криминала и нарушения армейских устоев. Но по его глазам я видел – сомнения в правильности своего поступка у него остались.

Однажды настолько надоела бесконечная муштра, что решил пойти на подлог, сказатья больным. Принять решение, болен кто-то или нет, мог только врач в санчасти. Меня и ещё двоих солдатиков повели к нему. Я чувствовал себя совершенно здоровым, но чтобы получить пару дней постельного режима, самовнушением начал убеждать свой организм, что у него высокая температура.

Первого из пришедших в нашей группе курсанта посадили в кресло лечить зубы. Врач начал ему выговаривать, что он их не чистит. Второго осматривал терапевт (солдат срочной службы, но старше нас по возрасту – полный, с круглыми очками на носу) и вскорости прогнал с такими словами:

– Симулянт. Нет у тебя никакой температуры. Вон боец, – и показал рукой на меня, – сразу видно, что болен.

Санитар дал градусник. Я его засунул подмышку. Держу, а сам себя продолжаю убеждать: высокая температура, высокая температура...

Врач забрал градусник.

– Да у тебя всего 37 и 3. А красный, будто жар. Ладно, постельный режим на два дня.

Какое же это блаженство – лежать в тихой, пустой казарме, не спеша перелистывать страницы книги, засыпать, когда чтение утомило.

Но и тут дежурный офицер углядел непорядок. Это ему принадлежит высказывание, обращённое ко мне, насчёт изучения Устава. Обломал, сволоочь, весь кайф.

На следующий день уже и положенный мне постельный режим, с таким трудом добытый, был им безжалостно прерван.

Так литературный голод я и не утолил.

4

Знаю, что многие люди мечтают быть лидерами, командирами, начальниками, но этого им отчего-то в жизни осуществить не удаётся. Приходилось наблюдать (и не раз), как такие «граждане», получив самую незначительную власть, неузнаваемо изменялись.

Самому мне власти, а значит ответственности за порученное дело, за судьбы подчинённых людей, никогда не хотелось. Всегда стремился всеми возможными способами этого избежать, отстраниться. Но неизменно на протяжении всей жизни, как некий рок, пришлось нести подобный груз ответственности.

Первой должностью в моей судьбе было назначение командиром отделения в нашем взводе (взвод 30 человек, в нём 3 отделения) с присвоением звания ефрейтора. Это самое низшее из всех возможных воинских званий.

Существует такой анекдот.

В увольнении ефрейтор проходит мимо генерала, не отдавая тому честь. Генерал возмущён его останавливает и требует объяснений, почему такое неуважение к старшему по званию. «Товарищ генерал, – отвечает ефрейтор, – если мы, командиры, между собой начнём ссориться, что же станет с армией?»

Я никогда не был похож на этого ефрейтора, хотя несколько раз вдруг «взбрыкивал» и не отдавал положенной по строевому уставу чести старшим по званию. Кстати, и сам себе не всегда мог объяснить, почему так поступал. В подобных случаях, видимо, что-то действует вне нас, помимо нашей воли.

В общем, командовал отделением довольно формально и для подчинённых безобидно. Только выполнял необходимые «служебные обязанности» – давал команды на построения, докладывал о выполнении отделением поручений замкомвзвода, ходил старшим в наряды и не более того. Потому в передовиках не числился. Вместе со всеми, когда взвод оказывался дежурным по части, отправлялся на расчистку дорог от снега, уборку коридоров в учебном корпусе, чистку картошки в столовой, там же мытьё посуды (алюминиевые тарелки и ложки, эмалированные кружки), заступал в караулы...

Последнее началось после принятия новобранцами воинской присяги.

Намного позже, в девяностые года, а значит двадцать лет спустя, я часто вспоминал такие слова той присяги: «Я клянусь... до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Советскому правительству. Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и как воин Вооружённых Сил СССР, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа».

Сколько же людей нарушило её в самом начале девяностых годов. Но ведь существует мистика клятвы. Потому так много и пришлось нам хлебнуть в тот период выживания России... Впрочем, я невольно отвлек-

ся от своей темы. До этих, немислимых в то время, испытаний было ещё далеко.

Тогда же...

В мороз ходил вдоль своего поста у опломбированных дверей и ворот складов с вещевым довольствием с карабином СКС (Самозарядный карабин Симонова) за плечом. И хоть при разводе наряд заряжал оружие боевыми патронами, но начальник караула при инструктаже всё-таки предупреждал, чтобы в случайного нарушителя, не отвечающего установленным паролем на окрик: «Стой, кто идёт!?!», сразу не палили, а вызывали разводящего с подкреплением.

Холодные зимние елецкие ночи по-особенному запечатлелись в моей памяти.

Хрустел под валенками снег, мороз обжигал лицо, высокие и прямые белые столбы поднимались из труб городских котелен в усыпанное звёздами, промороженное небо. Эти столбы доходили в тёмно-синем пространстве до определённого предела и, ломаясь под углом в девяносто градусов, продолжали струиться уже параллельно земле, постепенно размываясь и расширяясь. Небо бесконечное, чистое. Тишина вокруг лишь изредка нарушается проходящим невдалеке по высокой насыпи поездом, направляющемся к мосту через речку Сосна. Монотонный стук колёс на стыках рельс да тревожный гудок маневрового тепловоза на железнодорожной станции – вот и все посторонние звуки.

Как же в эти часы сладко думалось о далёком доме, об оставленных девчонках, которых не доцеловал и с которыми только начинались завязываться «серьёзные отношения», обо всём том, что оставил в другой, теперь казавшейся такой далёкой, гражданской вольной жизни... А ещё с нетерпением ожидалась смена караула и час на морозе ощущался не имеющим предела, нескончаемым.

Но вот идёт смена. Её приближение слышно издали – по хрусту заледенелого снега на тропинке. И хоть в свете фонарей прекрасно видишь, что это наш старший сержант, замкомвзвода ведёт твоих сослуживцев, соседей по койке, менять караул, всё равно, как положено по уставу кричишь:

– Стой, кто идёт?

Тебе отвечают паролем, подходят. Тот, кто заступает на твой пост вместе с сержантом проверяют сохранность пломб на дверях и воротах. Остальная группа стоит немного поодаль, терпеливо дожидается. Всё на месте, не тронут, не нарушено. Тогда снимаешь с себя, отдаёшь сменщику тяжёлый, длиной почти до земли, овчинный тулуп. Тут же ощущаешь, насколько без него, в одной шинели, холодней. Невольно вздрагиваешь и встаёшь в хвост группы. Ведомая сержантом, она быстро, почти бегом, двигается дальше по установленному маршруту к следующему посту. Там происходит то же самое, только у фургонов с оборудованием. И так далее, пока все посты не будут сменены.

Подходим к караульному помещению, перед ним на площадке у специального стенда разряжаем карабины, вынимаем обоймы с патронами, убираем их в под сумки, заходим в долгожданное тепло хорошо натопленного помещения. Тут бы лечь на деревянные нары в комнате отдыха, согреться, уснуть, но начальник караула – невысокий, сухощавый пожилого возраста капитан (у которого явно не сложилась армейская карьера, раз срок вышел, а он так и не выбился в старшие офицеры, так и не получил погоны с двумя просветами и хотя бы с одной звёздочкой побольше) требует зубрёжки наизусть статей устава караульной службы.

От недосыпа, усталости ничего не запоминается, в чём-то обязательно ошибаешься, какие-то слова и фразы произносишь либо неправильно, либо не в том порядке, не в той последовательности, в какой они напечатаны в книжке. Капитан недоволен, неумолим и безжалостен. Он отправляет продолжать учить устав. Самому ему, видимо, не спать

всю ночь. Может быть, если бы и захотел, да не уснуть, возраст. А каково нам?

Но, наконец, «экзамен» принят.

Какое же это блаженство постелить шинель на крашенные доски широкого, общего для всей смены, топчана, лечь, не снимая сапог (вдруг тревога, должен быть готов сразу выдвинуться на защиту порученного к охране объекта), вытянуться всем телом и закрыть глаза. Всего-то осталось минут двадцать отдыха. Три смены в карауле: одна на посту, одна бодрствует в караульном помещении, одна отдыхает. Моё время для сна почти завершилось. Но и эти двадцать минут – блаженство. Как сладко спится на родной шинели! И тяжесть сапог на ногах не в помеху.

А вот не постели шинель – на голых досках не уснуть, как бы утомлён не был. Шинель – замечательное изобретение человечества для воинской службы.

И всё-таки в карауле нести службу было лучше, чем работать на кухне.

Там, скользя по жирному плиточному полу, приходилось таскать груды алюминиевой посуды, мыть её в трёх ваннах. Кипяток обжигал руки, намыленная обезжиривателем посуда выскользывала, затем в холодной воде её приходилось ополаскивать, вынимать на стол. Всё это в полуподвальном чадру под сводами старинной казармы при неусыпном контроле недовольного, озлобленного прапорщика.

Во время наряда по кухне самым спокойным и чистым местом оказалась хлеборезка. Там трудился порядочный добродушный парень, с которым мы оказались в приятельских отношениях. Как-то раз, вернувшись после смены в казарму, он рассказал случай, который его буквально потряс.

Дело в том, что на территории части располагалось небольшое подразделение стройбата, которое завершало отделку двухэтажного корпуса новой столовой. Мой сослуживец, закончив работу, уже закрыл окно хлеборезки, когда в опустевший зал столовой зашёл стройбатовец, принадлежавший к одной из южнокавказских национальностей, постучал в опущенную фанерную створку окна и попросил продать ему хлеба.

Ответственный за порученное дело солдат отказал строителю.

– Я не могу этого сделать, это невозможно, мне этого делать никто не разрешал, тут хлеб не продаётся.

– Запомни, – нравоучительно промолвил пришедший, – не всё в мире продаётся, но всё покупается.

Стройбатовец ушёл ни с чем. Мой знакомый не мог нарушить приказаний командира, пойти против совести. Но услышанная фраза потрясла его чистую душу. Надеюсь, что не поколебала.

5

Я уже сказал, что кормили нас не то чтобы плохо, а отвратительно.

В самом начале зимы открылась новая столовая, в неё взвод и стал ходить строем «для приёма пищи». Одно это казённое выражение могло лишить всякого аппетита. Но не лишало. Молодые организмы требовали подкрепления. К тому же гастрономические пристрастия большинства из призванных солдатиков вовсе не были избалованы разнообразием блюд.

Не в пример прежнему помещению – тёмному и неуютному – тут в большие, просторные окна вольно вливался в зал морозный солнечный свет. Хотя есть продолжали всё теми же алюминиевыми ложками из алюминиевых мисок и тарелок кое-как нашинкованный салат из капусты, невкусно приготовленный суп и бесконечную, слипшуюся единым комом, перловую кашу на второе блюдо, к которой прилагалось мясо – нарезанный варёный свиной жир – отвратительный на вкус. Ни разу на наш стол, за которым сидело десять человек, не попадали тарелки именно с мясом, а не с жиром.

Однообразная и невкусная еда некоторых парней, тех, что из городских, успешных вкусить еды в приличных заводских столовых, буквально доводила до слёз. И голодные, и то, что дают, есть невозможно. Поэтому и радовались, когда взвод вывозили за город, в поле, где стояли не на боевом дежурстве, а для нашего обучения, работающие радиолокационные комплексы.

На территории же воинской части, в Ельце, утешением для изголодавшихся солдатиков, пока не стали они получать посылки от родных из дома, служил буфет. На те деньги, три рубля с копейками, что мы получали в месяц, в нём покупались молоко и пряники или лимонад с вафлями. В буфет чаще всего бежали прямо из столовой. И сейчас помню, какая это вкуснота – сладкий пряник запивать холодным молоком.

В двух или трёхэтажном (сейчас точно не помню) учебном корпусе за нашим взводом закреплена специальная комната для теоретических занятий. В ней для чего-то весь личный состав заставляли конспектировать в выданные для этого специальные тетради, материалы XXIV съезда КПСС, и в первую очередь доклад на нём Генерального секретаря ЦК КПСС товарища А.И. Брежнева.

Как только прибыли в часть, первым делом командир взвода опросил, у кого есть какие особенные способности – к рисованию, музыке, столярному делу и т.д. Такие нашлись. Плотником оказался один деревенский парнишка – по характеру грубоватый и ершистый. Больше мы его ни на строевой подготовке, ни в классе, ни на полигоне, ни в нарядах не видели. Изредка приходилось с ним встречаться, разговаривать. Он был вполне доволен службой, которая ничем не отличалась от его работы на гражданке, за исключением одной важной детали – платили ему за неё сейчас всего три рубля в месяц.

Помню, насколько был поражён, когда впервые с этим пареньком, внешне больше похожим на состарившегося мужичка – так утомлены были черты его лица, так приземисто, словно невыносимая тяжесть её придавила к земле, выглядела его фигура – когда впервые поздоровался с ним за руку. Его ладонь в привычном нашем понимании не была ладонью, а сплошной, до окаменелости твёрдой, мозолью. Кажется, и пальцы у него в полный кулак не сжимались.

Вторым счастливецом оказался москвич: полненький, улыбчивый балагур, что называется – рубаха парень, но, в то же время, себе на уме. Я даже запомнил его фамилию – Мартъянов. Он вызвался оформлять наглядную агитацию в учебной комнате. И пока взвод морозился на плацу, наматывая километры строевым шагом, в стужу ходил в караул, в сырости и духоте чистил центнеры картошки для столовой или боролся со снегом на полигоне, наш художник в тепле и свободе рисовал схемы с графики на специально приготовленных, выкрашенных белилами фанерных листах, а по желанию вволю отсыпался на учебных столах.

Увы, но я ни одним необходимым для облегчения службы навыком не обладал, потому тянул лямку, как и полагается молодому бойцу. Когда в очередной раз взвод отправлялся на полигон для расчистки от снега (метели и снегопады в тот год были нескончаемыми) я с тоской мечтал о тепле и уюте. Это желание казалось недостижимым, а армейский срок впереди нескончаемо долгим.

Не было минуты, когда бы я не вспоминал о доме. Особенно тогда, когда отдира ледяную корку со щеки, намёрзшую от наносимого в лицо снега.

Однако будет справедливо вспомнить и о другом чувстве, что сплачивало взвод в эти физически трудные часы и дни. Сейчас может показаться смешным, но... желание подвига. Мы были парнями, воспитанными литературой, фильмами, песнями в духе великих свершений советских героев, потому невольно тоже желали совершить нечто, если уж не героическое, то заметное, с преодолением трудностей.

В одну из таких почти ночных уборок снега выезжавший из части командир, полковник, в каракулевой папахе, которая хотя бы несколько увеличивала его совсем мальчишеский рост, так проникся нашим трудовым порывом, что остановил машину, по-отцовски похвалил за службу и пообещал, что его ГАЗик сейчас вернётся (только его отвезёт домой) и будет фарами нам освещать фронт работы. Похвала взвод окрылила. После неё так заработали, что вернувшаяся армейская легковушка почти не понадобилась – практически всё к этому времени оказалось выполнено. ГАЗик, исполняя распоряжение командира, постоял небольшое время, освещая расчищаемую нами дрогу, да и покати в гараж. Дело сделано.

Зато как хорошо, когда командир взвода капитан Бойко приводил подразделение в класс. Проведя занятия, он на какое-то время оставлял нас одних и тут, если не начинались споры, молодые солдаты могли повспоминать о прошлой жизни, по-фотографироваться, спрятавшись от зорких сержантских глаз – это действие в части по соображениям секретности запрещалось.

Что же касается споров, то их почти всегда заводили призванные с территорий Украины. Причём не с западных областей, а с восточных – из Донбасса и Приазовья. Главная тема: мы всех вас кормим, содержим. Уголь, металл, хлеб – всё наше.

Русские ребята, воспитанные в школах России в духе единой страны, интернационализма, по большому счёту не знавшие национальных различий, от таких разговоров и такого напора робели, что ещё больше убеждало обратную сторону в своей правоте. Мне такие разговоры казались невероятно несправедливыми. К тому же у нас был многонациональный взвод, в котором никто свои национальные республики не возвышал, никто ни в чём не упрекал других... а тут такое.

Сейчас я понимаю – парни повторяли то, что с малолетства слышали от своих родителей, слышали в той среде, в которой росли. Но тогда подобные высказывания своей несправедливостью рождали во мне чувство протеста.

– Хорошо, пусть будут уголь и металл ваши, но машины-то из металла производят в моём городе.

– А где такой город Горький находится? – в ответ спрашивали меня.

– На Волге. Это один из крупнейших городов СССР с населением почти полтора миллиона человек.

Мне не верили. О существовании моего города они не знали.

Тогда в библиотеке части нашёл справочник по городам СССР и показал спорившим со мной. Но зря старался. Раскрытая книга на нужной странице не произвела на жителей Украины никакого впечатления.

Споры продолжались. И ладно бы они не касались никого из нас лично. Однако были в нашем взводе два невысоких худеньких паренька из Подмосковья. Украинцы как бы взяли над ними шефство, которое заключалось в том, что всё чаще и чаще требовали от пареньков подчинения себе, при этом называя их «холопами». Произносилось вроде бы в шутку, но со временем стало закономерностью. Вскорости по-другому к паренькам они уже не обращались.

И тогда я опять возмутился:

– Какие они вам холопы?

– Ты не понимаешь, в этом нет ничего обидного, – стали оправдываться украинцы.

– Вот вы друг друга холопами и называйте, а ребят оставьте в покое.

Дело подходило к драке, но как-то всё усмирилось, мы остались прежними приятелями-сослуживцами. Однако и слово «холоп» больше слышать во взводе мне не приходилось.

Да и были ли те парни украинцами? Вернее всего, как и во мне, в них в равной степени была намешана русская и украинская кровь. Но похоже, что уже тогда эти парни оказались с замороченными экономи-

ческим национализмом мозгами, впитали его в себя если не в семье, то во дворе, в шахтах и заводах от старших товарищей, с которыми успели поработать до призыва в армию.

Забегая вперёд, скажу, что во времена очередной русской смуты, распада СССР, в год провозглашения суверенитетов и проведения самостоятельных референдумов, сомневающимся я неустанно объяснял, вспоминая свою армейскую службу, что восток Украины непременно проголосует за отделение от России. Так оно и произошло.

Ну а позже, в двухтысячных, когда русских там стали лишать родного языка и всё чаще и чаще в их адрес зазвучали оскорбительные определения и прозвища, я совсем этому не удивился. К тому времени и сами русские Восточной Украины в большинстве своём осознали, чем им грозит новая власть, стали сопротивляться, вспомнили о корнях. Теперь это даётся страшными усилиями, великими жертвами, большой пролитой кровью.

Но вернусь к армейским будням.

Капитан Бойко, командир 43 взвода 4 роты воинской части 03870 поначалу к прибывшим с Донбасса относился с осторожностью, но совсем по другой причине. Он исходил из собственного опыта. Далеко не первым учебным взводом ему приходилось командовать. Потому и вздохнул с облегчением, когда удостоверился – в нашем подразделении проблем с алкоголем нет.

– Раньше что не привезут с тех мест призывников, то беда. Кажется, вылей в туалет бутылку водки, так они всё дерьмо из ямы выгребут, через марлю выжмут и выпьют.

Справедливость беспокойства капитана я оценил в карауле, когда узнал, что на нашей гауптвахте уже сидят некоторые курсанты родом из тех краёв за самоволки и пьянство. Нет, наш взвод был дисциплинированным и довольно дружным. Правда, каюсь, случилось раз и у нас некоторое поползновение к выпивке, из которого, впрочем, ничего не вышло.

Всё происходило в новогоднюю ночь. Я оказался счастливчиком – загремел в наряд дежурным по роте. После отбоя с двумя земляками пробрались в подвальную умывальную комнату. Кто-то принёс с собой флакон дешёвого одеколona, который решили сообща распить в честь праздника. Но опыта в потреблении подобного напитка ни у кого не было. Вылитый в чашку одеколон пригубить никто не решился.

Попробовали разбавить содержимое водой. Жидкость приобрела молочный цвет и забурила.

Провозившись так со стаканом какое-то время, от питья одеколona мы отказались. Не получилось из нас нарушителей воинской дисциплины.

6

За всё время прохождения армейской службы я не получил в качестве поощрения десятидневного отпуска для поездки домой. Почему так произошло – вполне объяснимо. Дальше причину моего не поощрения командованием я раскрою. Но вот когда служил в Ельце, то однажды, совершенно неожиданно, домой съездить всё-таки удалось. И получилось это по причине от меня почти независимой.

Капитан Бойко, зная, что я из Горького, недалеко от которого расположен город химиков Дзержинск, а там завод, производящий органическое стекло, спросил – смогу ли я его достать для нашей части, если меня пошлют в командировку.

Безусловно, командир имел в виду моих родителей или каких-то их влиятельных знакомых, только я этого не понял и лишь случайно одной знакомой, походя, упомянул об этом в письме.

Письма во время службы в армии – неотъемлемая часть солдатского быта. Их пишут много и часто, ответов ждут с нетерпением. Я тоже

писал и зачастую совсем не тем адресатам, кому следовало. Да разве в молодости обо всём догадаешься, всё правильно оценишь? Самыми главными почтовыми конвертами были те, что приходили из дома – это безусловно. В них сохранялся воздух родного пространства, в котором совсем недавно жил сам. Они напоминали об обстановке в квартире, о знакомых вещах, о проходивших там встречах с друзьями, о стеллажах с книгами и письменным столом у окна...

Итак, сам не помня как, я упомянул о предложении командира в случайном письме и напрочь об этом забыл.

Вдруг вызывают в канцелярию части, писарь выписывает на моё имя проездные документы, командир части, полковник, говорит не совсем понятные напутственные слова, и я отправляюсь на пять дней домой.

Провожали меня в поездку во взводе – как на дембель.

Мартьянов, пока сидели в учебной комнате, успел нарисовать большой карикатурный рисунок, где портретно изобразил персонажей всего сорок третьего взвода. Бумагу, свёрнутую трубочкой, торжественно вручил на память. Я забрал её в дорогу. Этот рисунок хранится у меня, вклеенным в дембельский альбом, по сию пору. Хватило ума сберечь. Он уморительный, точно передаёт характеры всех персонажей.

Ничего не понимая еду из Ельца в Москву, оттуда с пересадкой в Горький. Дома узнаю – оказывается, знакомая сообщила про органическое стекло моим родителям... и всё завертелось.

Понятно, ни на какой завод я не езди, в глаза этого стекла, так нужного для учебной части, не видел, а жил дома, встречался с друзьями, немного бражничал – не без этого. Иными словами – наслаждался неожиданным и незаслуженным отпуском

Пять дней пролетели быстро. С помощью врачей командировку продлили на пять суток. В части, я думаю, никто в это не поверил, да ведь дело-то сделано. Машину дефицитного внефондового материала в Ельце уже получили. Однако и эти вольные дни пролетели. Настало время возвращаться в часть.

Более тяжёлого и смутного состояния души, наверно, не пришлось пережить за всю свою последующую жизнь. Я буквально впал в прострацию.

Прибыв из Горького в Москву на Курский вокзал ближе к ночи, мне следовало перебраться на Павелецкий вокзал и там опять же дожидаться вечернего поезда до Ельца.

На Курском случайно в нижних залах познакомился с каким-то москвичом. У того была машина и мы какое-то время колесили по ночному городу, затем слушали у него в крохотной квартирке в старом московском домике где-то в центре магнитофонные записи Высоцкого. Так прикоротал время до утра, до открытия метро.

Бледно начало светлеть за окном. Распрощавшись со случайным знакомым, вышел в промозглый день, на слякотный тротуар.

Бреду в сторону станции подземки. Тут у обочины дороги останавливается армейский ГАЗик. Из машины высовывает голову солдатик, кричит, спрашивая, куда направляюсь. Отвечаю. Тогда машет рукой, приглашая садиться в кабину. Подхожу.

– На Павелецкий – это я знаю, как лучше доехать. Садись, подвезу.

Вновь еду по улицам столицы. Москва просыпается, тротуары наполняются прохожими, дороги автомобилями, троллейбусами, автобусами.

– За командиром еду, – объясняет мне улыбающийся шофёр, – гляжу, наш брат топаёт.

Солдат ещё что-то рассказывает: добродушно, весело. Мне с ним хорошо, в машине тепло, уютно.

Но вот и вокзал.

С сожалением распрощался с весёлым солдатом. Даже горько стало от нахлынувшего вновь одиночества.

Вошёл в зал ожидания. И как сел на жёсткий диван из толстой выгнутой фанеры, покрашенной желтоватым лаком, так почти всё время и просидел до объявления посадки на поезд. Долгие часы миновали, а вспомнить ничего не могу. Словно и не жил в это время, а боролся с горькой душевной болью внутри себя.

Как проехал в плацкартном вагоне до невозможности медленно движущегося поезда – сейчас не вспомню. Что ел и пил, о чём думал, спал или бодрствовал, с кем-то разговаривал или молча валялся на верхней полке – ничего, ни одной детали память не сохранила. Возвращение в казарму было для меня потрясением. Сам от себя подобного переживания не ожидал. Сознание словно отключилось.

Очнулся лишь на КПП.

Дежурный офицер проверил предъявленные документы, позвонил в штаб, сообщил: «Опоздавший вернулся». Открыв вертушку, впустил меня на территорию части.

По знакомой дороге иду к казарме. И словно начинаю просыпаться, приходиться в себя, возвращаться в действительность. Правда, не догадался зайти в штаб к дежурному по части, отчитаться за командировку, тем самым доказать, что не дезертировал.

Это сейчас понимаю, что и сами отцы-командиры были удовлетворены таким исходом дела. А вдруг бы не вернулся? Отвечать им тогда по первое число. Но – пронесло.

Таким образом, моя нежданная командировка закончилась для всех сторон благополучно. Только капитан Бойко как-то намекнул в двух словах и почти шёпотом (он вообще был дядька не злобивый, разговаривал с нотками южнорусского акцента в голосе) о том, что натерпелся в связи с моим отсутствием-задержкой страхом.

А между тем на дворе уже шёл март. Солнце всё настойчивее пригревало. Солдатики первого полугодия службы обвыклись с новым для себя бытом и распорядком дня, приспособились к казарменному существованию, что называется – обтёрлись и обмялись, просто так на испуг нас уже не взять.

Ещё по морозу, когда по утрам он щиплет щёки, но к полудню хватка его ослабевает и становится даже тепло, а на припёках начинает постукивать о металлические подоконники капель, наш взвод на заснеженной поверхности реки Сосна, которая протекала за территорией части, но сейчас по заснеженной её поверхности была наезжена разбитая лыжня, сдавал норму военного разряда ГТО. Маршрут от старта до железнодорожного моста и обратно.

Солдат по фамилии Барда, это настоящий украинец, довольно высокий, худощавый парень из малороссийской глубинки, с трудом двигался по лыжне. Этот вид спорта был для него непривычен. Барда малоразговорчив и всё был как бы внутри себя. Отстав от всех больше чем на круг, он осторожно передвигал ногами. Лыжи плохо скользили, к сапогам привёрнуты кое-как, но, не видя, что, отдыхая, я тоже медленно еду за ним, потому что норматив успешно сдал, Барда тоскливо пел украинскую песню. Я заслушался.

Когда песня умолкла, поехал рядом с сослуживцем.

– Как же ты, хохол, хорошо поёшь, – сказал я доброжелательно, даже ласково.

– А ты, кацап, хорошо слушаешь...

Тогда я не знал, что обозначает это слово.

– Мы хохлы, потому что у нас были чубы казацкие. А вы кацапы, потому что носили бороды, как у козлов.

Я не обиделся. Он тоже. Но всё-таки пришлось Барду обогнать – уж слишком медленно он двигался. Да и песню больше не пел.

Подходила к концу наша учёба. Взвод всё чаще стали вывозить в город для подсобных работ на местной мебельной фабрике, изготавливавшей письменные столы. Части для чего-то понадобились древесно-стружча-

тые плиты, покрытые тёмным лаком и отполированные. Нас использовали в цехе для погрузки мусора, выполняли и другую неуютительную подсобную работу.

Когда растаяли остатки снега, и земля покрылась нежной щетинкой молодой травки, настало время сдавать экзамены на полигоне по приобретённым навыкам операторов радиолокационных станций. Приехавший принимать экзамены майор нервничал, не всё его в наших знаниях и навыках удовлетворяло.

Среднего роста, болезненно измождённый и много курящий у лестницы модуля с мониторами слежения за воздушными целями, он выговорил нам в сердцах:

– Я из-под обломков таких станций во Вьетнаме трупы ребят доставал, а вы выучить специальность как следует, не можете.

Солдатики, в том числе и я, пристыжено молчали. Однако все экзамены успешно сдали и удостоверения операторов РЛС третьего разряда получили. Теперь имели полное право носить на груди значок в виде щита, на голубом поле которого красовалась цифра «3».

За этим наступило время отправлять нас в войска. Много всего за прошедшие месяцы мы про эти самые войска наслышались. Как бедных курсантов ими только не пугали, как царящей там дедовщиной не стращали, а срок подошёл – и поехали.

Да ведь и стращали те сержанты, заместители командиров взводов, которые в «войсках» сами никогда не бывали, отсиживались в учебке, а страхи про «стариков» передавали в виде сплетен.

Итак, муштра учебной части закончилась. Был издан приказ. Десятерым из взвода, в том числе и мне, присваивалось звание младшего сержанта.

Выдали всем, что необходимо из обмундирования, списали с каждого числившиеся противогазы с карабинами. Оружие в оружейной комнате начистили маслом до блеска, принимали его строго. Скатали в скатку шинели, запахнули добро в зелёные армейские вещмешки, в поростонародье именуемые «сидорами» и отправились строем на вокзал.

И повезли нас кого куда – не сообщая конечного пункта назначения, места продолжения службы.

7

Пересаживаясь на Курском вокзале в скорый поезд «Буревестник», догадался, что родного города мне не миновать.

В Горький опять же прибыли вечером. У вагона, пока на платформе выстраивали прибывших солдат в шеренгу, проверяли и пересчитывали, разыскал меня старший брат. Только тогда пришла ко мне догадка, что это его стараниями я вернулся на родину.

Но приезд в Горький не означал, что именно здесь я продолжу службу.

С Московского вокзала повезли многих прибывших в казармы воинской части, раполагавшейся на выезде из города вдоль Московского шоссе. На следующий день началось распределение по подразделениям. Группа, куда прикрепили меня, отправлялась для дальнейшего прохождения службы в 9 радиотехническую бригаду 16 корпуса Московского округа противовоздушной обороны. Штаб бригады дислоцировался в верхней части города на высоком правом берегу Оки.

Привез автобус ПАЗик небольшую группу цинистых и свеженьких солдатиков, на улице Медицинскую. Вот тут-то мы сразу и столкнулись с так называемыми «стариками». Да и были ли они из таковых – кто знает.

Подошли к ожидающим дальнейших распоряжений молодым солдатам два низкорослых и наглых узбека. Решили взять новичков на испуг, отнять новенькие, только полученные в учебной части фуражки к парадной форме. У самих вымогателей на головах замасленные пилотки.

Большую часть службы солдат носит на голове пилотку, ходит в гимнастёрке. Только в увольнение и по праздникам по команде он надевает

китель, брюки, ботинки вместо сапог. Тогда же и фуражку. Хотя, признаюсь, мне всегда больше нравилась гимнастёрка. Самая удобная армейская повседневная одежда. В ней чувствуешь себя удобно, в кителе – казённо и неестественно.

Пареньки наши мялись, фуражки отдавать не хотели, но и конфликтовать побаивались. Нас человек десять, их всего двое. Тем не менее, неизвестность отношений многих пугала. Как бы чего не вышло. Кого ещё куда дальше отправят. Вдруг в часть, где эти двое несут службу.

Признаюсь, несколько насмешливо наблюдаю я за происходящим. Однако почувствовав, что им не дают отпора, совсем уж обнаглевшие узбеки подошли и ко мне всё с тем же требованием. Но я-то сержант.

– Хочешь мою фуражку? Ну, попробуй, возьми.

– Пойдём в туалет, поговорим, – предложил тот, что казался возрастом постарше.

– Пошли.

Зашли в туалет. Он был тут же, на первом этаже. Следом за нами троими из только прибывших никто не пошёл. Побоялись.

Чтобы быть вровень со мной, узбек встал на приступок, что выложен плиткой вровень с унитазом. Начал что-то говорить, что, по всей видимости, должно было меня напугать. Но не напугало.

По внешнему виду, по фигуре, по тёмному лицу с намеченными морщинами у глаз, узбек выглядел старше меня, восемнадцатилетнего. В нём ощущалась мужиковатая коренастость. Но и у меня есть преимущество перед ним. Я рос в таком районе города, где к дракам привыкали с малолетства, потому возраст соперника не смущал – приходилось и с более старшими выяснять отношения.

Кстати, во время службы я ещё не раз буду сталкиваться с тем, что из среднеазиатских республик в армию призывали не мальчишек вроде нас, из российской глубинки, а довольно взрослых парней, почти мужчин. С чем это связано – объяснить трудно. Видимо, существовали на жарких просторах Таджикской, Узбекской и Казахской республик несколько иные отношения к решению этого вопроса, чем в военкоматах РСФСР.

Итак, напугать меня не удалось.

Не скажу, чтобы хотелось драться. Я находился на неведомой, ещё необжитой, неосвоенной территории, здесь многое оставалось непонятным, смущало, заставляло осторожничать.

Но и «старик» начинать драку, я это видел, боялся. Возвращаться же из туалета без фуражки тоже стыдно – это понятно. Начались уговоры.

– Подари мне фуражку, чего тебе стоит. Мне на дембель идти, а тебе служить полтора года. За это время найдёшь ещё лучше.

Вот тут я уже почти был готов пожалеть узбека, но тогда как возвращаться к своим без головного убора. Подумают – уроженец востока у меня её отнял. Потому пришлось окончательно отказать в просьбе и выйти из туалета, оставив расстроенного узбека стоять возле унитаза.

В части на улице Медицинской, напротив нового высокого корпуса завода «Орбита», внешним видом больше походившего на здание гостиницы, чем на производственное помещение, пришлось задержаться на несколько недель.

Жил в казарме на втором этаже. Тут, в отличие от Ельца, койки стояли в один ярус и занимали не более половины просторного помещения. Тумбочка с дневальным на первом этаже, потому в казарме, при желаниии, можно свободно читать – офицеры сюда совсем не заходили, их рабочее место в штабе, за строящимся новым больничным корпусом.

Из окна слышалось, как посвистывая по контактному проводу дугой, проходил невдалеке городской трамвай. От казармы рельсы отделял забор и ряд высоких густых тополей. Совсем рядом, через дорогу, пятиэтажные жилые дома, построенные из красного кирпича – привычная гражданская жизнь. Она так рядом, что трудно удержаться, дабы

не вырваться в неё, из замкнутого забором пространства воинской части. Потому невольно подумывал о самоволке.

Шло время, а я всё ещё не очень понимал, какие обязанности должен исполнять. Назначали в наряд дежурным по кухне, давали в подчинение двух-трёх солдатиков для мытья посуды и полов, переноски из хранилища овощей, из склада коробок с тушёнкой и мешков с крупами, выноса баков с отходами.

Ходил в караул разводящим. В корпусе, где находился штаб бригады, на втором этаже выставлено знамя части, для охраны которого организован специальный пост – круглосуточно стоял боец в парадной форме.

Вечером, в дальнем конце территории части, за гаражами, несколько раз перелезал через забор. Уходил погулять по вольным улицам – но не далеко. Здешние места хорошо знакомы. Потому лишь раз в парке «Ленинского комсомола» задержал меня воинский патруль, состоящий из офицера и курсантов ракетного училища, да и то обошлось. Старший лейтенант потребовал документы и увольнительную, бравые, с армейской выправкой курсанты как по команде окружили меня сзади. В патруле всегда задействованы трое – офицер и двое солдат.

Без всякой бравады надо признаться, что в этой ситуации я серьёзно влип, но как-то так смело и естественно отговорился, что поверили в невинность задержанного сержанта и отпустили. Или захотел лейтенант поверить, чтобы не возиться – всё-таки их главной целью наведения дисциплинарного порядка являлись курсанты недалеко расположенного училища, которые могли в неурочное время убежать на танцевальную площадку, с которой уже доносилась призывная музыка.

Позже, при разных обстоятельствах, с патрулями у меня ещё будут встречи, но о них позже, в своё время. Теперь же стал осторожнее в своих недозволенных гуляниях.

В штабе бригады служил небольшой состав срочников. Тут солдаты исполняли обязанности обслуживающего персонала: охрана объектов, шофера при гаражах, охрана гауптвахты, дежурство на КПП, писари, повара. Больше здесь находилось людей профессиональных. Кроме офицеров, это врачи и медсёстры, телефонистки, строительные рабочие. В клубе по выходным показывали кино. В санчасти лежали больные солдаты из самых разных отдалённых частей: Суроватихи, Правдинска, или уж совсем издалека, за многие сотни километров, где дежурило на точке несколько офицеров и десятка два солдат.

Бывало, что с таких точек доходили неприятные вести.

Я же потихоньку обвыкся служить при штабе, уезжать с улицы Медицинской мне никак не хотелось. Но пришлось.

Узнав об этом, вновь невольно затосковал. Однако – как оказалось, напрасно.

Как-то днём неведомыми для меня людьми было принято окончательное решение, что дальнейшая моя служба должна проходить при командном пункте 16 корпуса ПВО.

На грузовой машине ГАЗ-66, прозванной в народе с любовью «шишигой», приехал вместе с шофёром офицер. Мне поступила команда залезать в кузов под тент. Там, сбросив с плеча вещевой мешок и скатанную шинель, я уселся на деревянную откидную лавочку ближе к кабине и стал наблюдать в открытое пространство со стороны заднего борта, куда забросит судьба на этот раз.

8

По проулкам машина выехала на широкую улицу Бекетова, в Кузнецких повернула на выезд из города и, забравшись по крутому склону на вершину холма, покатила мимо новых корпусов недавно построенной областной больницы.

Большие окна в зданиях отражали полуденный солнечный свет, посвёркивая яркими вспышками, будто от работы электросварочного аппарата.

Доехав до центрального корпуса машина повернула налево, в поле и, проехав по заасфальтированной дороге метров триста, остановилась у решётчатых металлических ворот с красными звёздами. Дежурный, лениво выйдя из будки КПП, открыл их. Створки недовольно и потревожено, лязгнули, пропуская машину, и мы въехали на территорию части, которая на долгие полтора года, до полного окончания службы в рядах Советской Армии, стала моим родным домом.

Здесь начнётся история моих публикаций в газетах. Здесь напишу первые рассказы и получу профессиональные критические отклики на них. Сюда приедет старший брат на только что купленных «Жигулях», чтобы сообщить, что у него родился сын, а я, соответственно, стал дядей. Здесь узнаю дружбу одних и эгоизм других. Одним слово – много чего ожидало впереди, о чём я тогда не мог догадываться.

Что из себя представляла новая для меня воинская часть под названием «Центр АСУ»?

На довольно обширной территории размещались три одноэтажных щитковых казармы. Около главной – плац, гараж на одну грузовую машину, ту самую «шишигу». За гаражом хозяйственный двор с овощехранилищем и свинарником. Несколько в отдалении спортивный городок, столовая, затем штаб, где было всего два значимых кабинета – комбата и замполита.

Главное сооружение – командный пункт корпуса – находилось под землёй. В него вёл незначительный для случайного взгляда ход. Над сооружением возвышался небольшой куполообразный холм, поросший травой. Ничего не говорило о том, что в этом месте ведётся наблюдение, принимаются решения по обеспечению охраны воздушного пространства над огромной территорией нашей страны.

Когда прибыл в часть, то первая от ворот казарма была почти пустой. В ней жили стройбатовцы, которые, в большей части, закончили работу по сооружению нового командного пункта, и их передислоцировали на другие объекты. Третья дальняя казарма была ими ещё занята.

Меня назначили одним из командиров во взводе, выделили койку в дальнем кубрике казармы.

Кубриками назывались отдельные не то чтобы помещения, а пространства, отделённые друг от друга не глухими перегородками, а как бы намечающими их стенами, за которыми несколько обособленно размещался состав отдельных подразделений: планшетистов первой и второй смены, связистов, хозяйственный взвод, и т.д. Металлические койки с провисшими сетками стояли в два яруса. Спали на них служивые головами к окнам, ногами к проходу, укутываясь байковыми одеялами.

Несмотря на всю казённость быта, в казарме соблюдались чистота и порядок.

Полы вымыты. Натёртые мастикой, они тускло-красно поблёскивали в проникающем через окна дневном свете. Кровати аккуратно заправлены. Воздух свеж летней прохладой, той, которую всякий раз ощущаешь, войдя в затенённое помещение после зноя.

Позже я оценю и уютное тепло в зимнее время. Казарма отапливалась своей небольшой котельной, кочегар из сослуживцев хозяйственного взвода. В морозы он ходил в чёрном бушлате, пропитанном угольной пылью – но с обязанностями справлялся добросовестно. В этом же хозяйственном подразделении числились: шофёр, повар, свинарь, электрик, каптенармус, а если проще, то каптёрщик...

От одной торцевой стены до другой казарму разделял сплошной коридор. С моей стороны он упирался в комнату художника, изготавливающего наглядную агитацию. В другом конце стоял телевизор и коридор служил своего рода зрительным залом, когда приходил срок смотреть программу вечерних новостей, предновогодние художественные фильмы или матчи чемпионата мира по хоккею, в которых от сборной СССР ожидалась только победа.

И уж что совсем закончить описание казармы, сообщу: центральный вход упирался в тумбочку дневального; справа от неё закрытая и опечатанная оружейная комната и чуть дальше умывальная; слева гладильная. С правой стороны у входа за стеклом комната дежурного по части. За ней Ленинская комната – тут можно почитать газеты, написать письмо домой. Здесь проходили редкие, в том числе и комсомольские, собрания и встречи с лекторами.

Ещё дальше, через стенку – каптёрка, владения нашего старшины в звании старшего прапорщика. У него, как я уже сказал, был свой индивидуальный подчинённый – полностью доверенное лицо из рядового состава, будущий мой хороший товарищ.

Вообще прапорщики в части на один квадратный метр казармы было как-то уж слишком много. Все они, на мой взгляд, занимались мало чем стоящим. Выполняли несложные хозяйственные функции и представляли из себя людей малообразованных, в военной службе случайных, а к другой серьёзной профессии неприспособленных. Кто-то из них был скрытый пьяница, кто-то интеллектуально неразвит, а кто-то и вовсе вороват.

«Старики» в подразделении приняли меня сдержанно. В основном это оказались русские парни. С теми, что призваны из Москвы, мы довольно быстро нашли общий язык.

Правда, был среди них один высокий, русоволосый, задиристый. Как-то раз мы между собой что-то не поделили, сейчас уже не вспомню точно причины, схватились, но из-за тесноты коридора не на кулаках, а в жёсткой борьбе, больше напоминающей драку на выносливость, в которой я одолел своего соперника – всё-таки ходил в секцию борьбы и основные приёмы болевого захвата хорошо помнил.

Парень оказался крепким, настойчивым и в свою силу верящим. Но раз взять верх не удалось, он смирился, мстить и творить гадости исподтишка не стал, устраивать разборки с привлечением других «стариков» тоже. Вместо этого в ближайшую ночь пришёл к моей кровати (он был из планшетистов, перед дембелем готовил себе смену, потому свободно мог уйти с командного пункта), принёс три бутылки дешевого крепленого вина, и мы за разговорами в течении нескольких часов все их выпили, выкидывая пустую посуду в форточку: куда же ещё – больше спрятать некуда.

И совсем нам вдруг стало невдомёк (так хорошо сидели, славно вспоминали гражданку, бутылки летели в форточку, как говорится – на автомате), что окно у моей кровати выходит на главную дорожку перед казармой, по которой все офицеры, во главе с комбатом, утром проходят в комнату дежурного по части и на развод.

Вот они и пошли...

Наш комбат – ранняя птичка и первым узрел непорядок. Тогда он ещё носил погоны майора, но вскоре получил подполковника, однако менее суровым от этого не стал. Он учинил дознание, которое, как и следовало ожидать, никаких конкретных результатов не дало. Никто не сознался.

Что касается меня, то и очереди не дошло до расспросов. В качестве подозреваемого кандидатура недавно прибывшего младшего сержанта пока не рассматривалась.

Но, кажется, именно с этого времени комбат меня невзлюбил.

Он не придирался, не наказывал по пустякам, хотя за строгость и громкий голос в части его побаивались.

Высокий, мощный, комбат смотрел на собеседника сверху вниз сверлящим взглядом тёмно-карих глаз человека глубоко недовольного то ли тем, кто стоит перед ним, то ли вообще жизнью. При этом острый нос его напрягался, заострялся ещё больше, чёрные усы под ним начинали возбуждённо подрагивать и, наконец, командир разрождался громкоподобным криком, который, видимо, по разумению подполковника соответствовал должности и даже входил в его обязанность.

Курил комбат непрестанно и жадно – по четыре пачки болгарских сигарет с фильтром «Опал» в день. Сигарета исчезала в его пожелтевших от никотина пальцах в две-три затяжки. При этом во время втягивания дыма в лёгкие в его горле что-то неприятно хрипело и побулькивало.

Одним словом – как и все, я, не зная почему, его тоже побаивался, невольно перед командиром робел... в первое время. Чем-то я его раздражал. Потому, когда взгляд подполковника останавливался на моей персоне, поначалу нервничал, но через несколько месяцев это породило во мне совершенно обратное чувство протеста.

Только теперь, по прошествии большого срока я додумался до того, что всему виной могла служить протекция знакомого моего брата, который занимал должность в штабе корпуса и, как я понимаю, устроил мой перевод из учебной части для прохождения дальнейшего отдания воинского долга Родине недалеко от дома.

Но в Центре АСУ я такой был не один. Поначалу нас оказалось трое, потом стало пятеро, но особое внимание недовольства продолжало оказываться только мне.

Однако служба шла своим чередом.

Сильное впечатление на молодого солдата произвёл командный пункт корпуса, когда я впервые спустился в его подземные залы

Если пройти коридором, то с правой стороны оставался пункт командования во главе с дежурившим там полковником. В пределах зоны охраны воздушного пространства корпуса ему подчинялись все рода войск – радиолокационные, лётные, ракетные.

Напротив дежурной смены старших офицеров в большом зале из прозрачного органического стекла была выстроена карта, на которой планшетисты, находясь в наушниках с другой, внутренней стороны её, получали данные о пролёте самолётов от операторов радиолокационных станций с самых отдалённых точек. Они прослеживали движение всех воздушных целей, отмечая время их появления и координаты, проводя по карте непрерывную линию специальными жёлтыми жирными карандашами. А так, как одновременно целей было несколько, то планшетистам приходилось то подниматься по ступенькам вверх, то быстро спускаться вниз. Когда самолёт уходил за пределы контроля нашего корпуса и передавался следующим подразделениям слежения за воздушным пространством, солдаты стирали уже пройденный маршрут, оттого к концу смены лица их были желты от карандашной пыли.

В семидесятые годы всё воздушное пространство СССР контролировалось подобным образом, ни один нарушитель не мог незамеченным в это пространство проникнуть. Движение подавляющего большинства гражданских рейсов проходило по заранее известному воздушному коридору. Опытные планшетисты, приходя на смену, наперёд рисовали эти маршруты на стекле, а затем только отмечали прохождение целью контрольных точек.

Другое дело, когда шли учения, в небо поднимались военные самолёты, проверяющие бдительность радиотехнических войск. Тут требовалось настоящее мастерство и от операторов станций, и от планшетистов, чтобы не прозевать цель, точно засечь её координаты.

Из планшетного зала по подземному переходу можно было пройти в новый более обширный и более глубокий командный пункт, строительство которого завершали строители.

Всё в этом новом уникальном сооружении было почти готово к эксплуатации, гражданскими специалистами, специально для этого приехавшими в Горький, шла наладка сложнейшего оборудования.

Невозможно было представить, что через каких-то пятнадцать лет командный пункт будет закрыт, перестанет работать.

Перед этим произошёл во многом загадочный прилёт в Москву «самолёта Руста», с посадкой в самом центре столицы, на Красной площади. То, что наши радиолокационные станции, зная работу системы изнутри,

могли его не заметить – никогда не беру. Замысел тут был реализован иезуитский, коварный и по стилю никак не соответствующий русскому менталитету – довольно прямолинейному и простодушному, редко когда заглядывающему, если это касается непосредственно его жизни, слишком далеко вперед.

Нас и история со сбитым «Боингом» на Дальнем Востоке по-настоящему ничему не научила.

Цель, конечно, была обнаружена. Ждали решения верховного командования, политических властей, которого так и не последовало. А возьми тогда кто-то из военных полную ответственность на себя, посади принудительно этот самолёт, и история страны, возможно, пошла бы по совершенно иному сценарию.

9

Несмотря на то, что комбат вечно мною недоволен, на прошедшем комсомольском собрании меня выбрали в состав комитета ВЛКСМ и секретарём комсомольской организации нашей части. Иными словами – против своей воли стал комсомольским вожаком. Честно этому сопротивлялся, но в итоге пришлось смириться.

Особого усердия в исполнении выборной должности я не проявлял. За всё время службы провёл несколько необходимых собраний, да одно внеплановое, о котором, если придётся к слову, расскажу позже. Ежемесячные протоколы собраний в общей тетради (это для возможных проверяющих из бригады или корпуса) добровольно согласился за меня писать армейский товарищ, отличный парень из подмосковного Ногинска.

В нашем подразделении служили призывники самых разных национальностей, и все они между собой отлично ладили.

Каким-то неведомым ветром занесло к нам таджика из дальнего тамошнего кишлака, у которого к этому времени уже была своя семья, дети, о которых он сильно тосковал, хотя и скрывал чувства от сослуживцев. Он почти не говорил по-русски, плохо понимал его, потому, когда к нему обращались, всё больше растерянно улыбался или виновато молчал с напряжением в лице.

Так как никакого специалиста из такого солдата подготовить невозможно, беднягу определили постоянным дежурным по КПП. Безобидный, застенчивый, малого роста, смуглый и черноволосый, он так прижился на своём посту, что в казарме и на построениях мы его почти не видели.

Только изредка, когда в части должно было появиться какое-либо начальство из округа, которому при въезде на территорию следовало доложить по всей установленной форме, встретить браво и открыть ворота по-армейски вышколено, таджика заменяли, убирали с его поста. Деваться ему тогда было некуда, он будто лишался родного крова, потому обосновавшись в казарме, в самом укромном уголке её, и думая, что его никто не видит и не слышит, забываясь начинал тихо петь на родном языке протяжную заунывную песню. В ней чувствовалось столько тоски, что звуки её невольно рождали в моей душе искреннее сочувствие этому человеку.

Изредка мы разговаривали. Вернее – пытались разговаривать. Меня поражала незлобивость таджика и природная, генетическая покорность. Хорошо, по-видимому, ему было только с самим собой, своими думами и воспоминаниями.

В комнате художника полноправных хозяином являлся венгр из Ужгорода Янош Терпак. С этим пареньком, похожим на задиристого воробушка – так он был мал, худ, остронос, подвижен, разговорчив, смешлив и в то же время серьёзен, самостоятелен – мы подружились.

Между нами не сложилось заливчатской дружбы, когда всё поровну: и печали, и радости, и ответственность за проступки, и делёжка неожиданно полученных вкусок. Мы жили каждый своей отдельной жиз-

ную, но, в то же время нечто серьёзное нас соединяло – ответственность за сказанное, сделанное, обещанное.

Порой ради шутки, когда у Терпака не получалось нарисовать хороший плакат, я восклицал: «Эх ты, чурка не русская». На что Янош обязательно отвечал: «А ты чурка не венгерская». И оба принимались смеяться.

Художнику из дома присылали посылки, в которых оказывались большие наборы импортных фломастеров всевозможных цветов. Никогда раньше подобного многообразия оттенков цвета я не видел. Были и журналы для молодёжи на венгерском языке (Терпак, переводя на русский язык, читал мне из них новости, о том, какие зарубежные группы приезжали на гастроли в Венгрию, что меня тоже удивляло – мы в СССР и представить себе этого не могли; ответы разных врачей и психологов на вопросы, порой самые интимные, молодых парней и девушек и так далее), и разнообразные деликатесы будапештского производства – сладкая горчица в тубиках, особая сырокопчёная колбаса, импортное печенье.

Как-то я поинтересовался – откуда всё это? И был невероятно удивлён, что по каким-то установленным дням его родители свободно переходят границу СССР с Венгрией, покупают на другой стороне что необходимо. Мне, жившему в центре России и уверенному, что советская граница – это крепость за семью печатями, из которой просто так не выйти, когда заблагорассудится в неё не войти, этот факт казался невероятным. А тут, оказывается, для некоторых граждан СССР граница в некоторых местах может быть свободно открытой. Потрясающе!

В одном из разговоров, хитро улыбаясь, Янош, отвечая на мой вопрос по этому поводу, сказал:

– Моя бабушка, не выезжая из своего дома, прожила в трёх странах: Чехословакии, Венгрии, а потом пришли русские и позабыли уйти.

Теперь, вспоминая это высказывание, думаю, что его бабушка успела дожить до времени, когда не по своей воле стала гражданкой четвёртой страны – Украины.

Кроме исполнения обязанностей художника-оформителя Янош выполнял службу почтальона. Имея увольнительную, каждый день переодевался в парадную форму и убывал в город, где в почтовом отделении у площади Сенной получал письма, посылки, переводы, срочные телеграммы, газеты «На боевом посту» и «Красная звезда» и армейские журналы для ленинской комнаты.

Именно мой товарищ принёс мне первый в жизни перевод с гонораром в размере около двух рублей (кстати, неплохие деньги по прежним временам) из редакции «На боевом посту» за заметку, которая называлась «Достигнутое – не предел».

Другим моим приятелем был литовец Лосинкас. – каптёрщик, требующий от более молодых солдат, чтобы к нему обращались: «каптенармус».

Это натура – полная противоположность Терпаку. Высокий, шумливый, непокорный, говоривший со слегка заметным акцентом, он в своём отдалённом от прочей казарменной жизни помещении являлся царём и богом. Никого из посторонних туда не допускал.

В его ведении выдача нам белья (постельного и носильного) перед баней, у него хранилась парадная форма, ботинки, фуражки, он выдавал по прошествии года новые кирзовые сапоги, в шкафах каптёрки высели наши шинели...

Старшина части, непосредственный командир Лосинкаса, приезжал на службу на красных «Жигулях» первой модели. Неподалёку от части, в пригородной деревне старший прапорщик имел свой частный дом с налаженным хозяйством. Возможно, от этого в его характере угадывалась недоверчивость к окружающим, и даже житейская, не криминальная, а так, по мелочи, жуликоватость. Потому старшина знал, кого выбрать себе в помощники – и не ошибся. Жизненный опыт подсказал верно.

Лосинскас был прирождённый и бесстрашный аферист.

Прапорщик тучноватый, круглолицый, малоразговорчивый и из той породы людей, про которых говорят, что у них «глазки бегают». Его помощник напротив смотрел на проходящих в его пространство, к нему с просьбой сослуживцев повелительно-дерзко, взглядом, выражающим твёрдость и непоколебимость.

Лосинскасу было всё равно, кто являлся в его хранилище шапок и тапочек, портянок и рубашек, гимнастёрок и зелёных тёплых рабочих бушлатов... Дальше порога, около которого стоял его маленький, обшарпанный письменный стол, он никого не пропускал. Только со старшиной сохранял соответствующую субординацию.

Перед комбатом, как и всякий позволяющий себе третировать ближнего, тех, кто зависел от его воли, он трепетал как перед силой, преодолеть которую не в состоянии ни при каких обстоятельствах.

Призвали Лосинскаса откуда-то из-под Каунаса. В парне была намешана разная кровь, в том числе и польская. На этом языке он вполне свободно разговаривал. Особенно любил ругаться.

Каптёрщик первым сообразил, что из моих попыток написать рассказы можно извлечь выгоду. Он предложил сочинить рассказ на армейскую тему, который затем сам переведёт на литовский язык и пошлёт в республиканский молодёжный журнал. Так и сделали.

Написал я рассказ дня за два. Лосинскас перевёл, переписал набело и послал по имеющемуся у него адресу (опять же – и он получал журналы на родном языке). Ответа ждали месяца два. Наконец на имя каптенармуса Терпак принёс письмо, на фирменном редакционном конверте которого обратный адрес был написан не на русском языке.

В письме говорилось, как мне перевел его содержание Лосинскас: это хорошо, что служа в рядах Советской Армии вы пытаетесь сочинять, но пока... Дальше содержание письма я не помню, только вывод редакции – текст рассказа не пойдёт.

Чья главная вина в постигшей нас неудаче – сочинителя или переводчика – определить было невозможно. Но стало ясно другое – этим путём необходимых денег не заработаешь: долго, трудно, ненадёжно. Больше подобных попыток мы не предпринимали.

Однако я продолжал писать материалы в газету (со временем они становились в объёме всё больше и выходить на полосе стали всё чаще – отсюда росли и гонорары), Лосинскас зарабатывал деньги одним ему известным способом. Его деятельная натура случившейся неудачей не была обескуражена.

Позже, когда срок службы в армии перевалил за один год, весной, накануне наступления летнего тепла, Лосинскас как-то предложил мне привезти из дома гражданскую одежду. У него самого такая давно была приготовлена. В очередное увольнение я привёс рубашку, брюки, джемпер, ботинки, и Лосинскас всё это спрятал в недосыгаемых для кого бы то ни было недрах своей каптёрки.

С этого времени начались вечерние походы по городским ресторанам. После проверки мы переодевались в штатские брюки и рубашки, в районе хозяйственного двора перелезали через забор, выходили на дорогу к областной библиотеке, ловили такси и отправлялись развлекаться.

В своём городе, в центральной его части я знал каждый более-менее значимый уголок. Моему приятелю это и нужно было. Проводили время в ресторанах речного вокзала, гостиниц на откосах, в уютных кафе на съездах.

Легко знакомились с молодежью, которая, глядя на наши короткие стрижки, чаще всего считала, что мы только что освободились из мест заключения.

Денег хватало. В те времена достаточно было иметь в кармане пять рублей, чтобы нормально провести вечер. С десятью и вовсе себя чувствовать свободно, не экономя.

Шампанское, закуски, второе блюдо, кофе... Нас привлекала не выпивка (этого заказывали совсем мало), а музыка, танцы, возможность общения вне казармы. Мы оба истосковались по чувству гражданской вольной жизни.

Лосинскас имел достаточно свободных денег, чтобы сполна оставлять чаевые. Делал он это по барски, словно всю жизнь «жил на широкую ногу». При том бросал как бы невзначай несколько фраз по-польски или по-литовски, и официанты опытным глазом сразу узнавали в нём иностранца – что для закрытого города Горького в семидесятые годы было большой редкостью. При этом ведь и внешность моего приятеля, и акцент были «не русские».

Я не задавался вопросом, откуда у Лосинскаса свободные десятки рублей. Лишь много позже стал догадываться: перед нашей частью и с левой стороны ее были поля с частными огородами, сзади глубокий овраг, по дну которого протекала замусоренная по берегам, заросшая осокой и кустами ивы небольшая городская речушка, а вот справа обосновался большой автопарк такси и автобусов городских маршрутов. Видимо, оборотистый каптенармус что-то из имущества продавал шофёрам и иным работникам.

Хотя мы одного возраста, в поступках и в принятии решений мой товарищ выглядел человеком более опытным, пожившим, и потому точно знавшим – чего действительно стоит опасаться, за какую черту не следует переходить, а что так, мишура, не стоящая серьёзного внимания. Мы в своей жизни очень часто опасаемся того, чего совершенно не следовало бы. При этом по неопытности пропускаем «удары судьбы» там, где легко могли бы подобное предотвратить.

В его поступках, высказываниях порой сквозил здоровый цинизм, не приводивший, конечно, меня в восторг, но и не раздражавший. Столь естественным он был для натуры Лосинскаса.

Армейское начальство, которого мы слушались, командам которого подчинялись, для него – «мишура».

– Что они могут сделать, если я, например, не выполню их распоряжение? Накричат? Объявят наряды? Ещё что? Пройдёт год, уйду на дембель и про их существование на земле забуду, – в один из вечеров разоткровенничался Лосинскас. – Так стоит ли всему этому придавать большое значение. Живи не борзея, не создавая проблем другим, и тогда тебя никто трогать не будет.

Если спокойно, трезво о таком выводе подумать, над этими словами поразмышлять, то оказывалось, что Лосинскас по-житейски во многом прав. Через год, даже меньше, мы распрощаемся друг с другом, и поминай как звали, в том числе и этих подполковников, майоров, капитанов и лейтенантов – уж не говоря о прапорщиках.

Когда пришёл срок моего дембеля, то литовец, демобилизовавшийся спустя недели две, приехал ко мне домой и мы, на прощание, отправились в ресторан «Нижегородский». В конце вечера, перед закрытием заведения, бывший каптенармус неожиданно решил поехать прощаться с «любимой девушкой» (хотя я был уверен, что мы вместе вернёмся ко мне домой).

Долго ловили такси. Я уговаривал Лосинскаса вернуться ко мне, но он настоял на своём и на подвернувшейся свободной машине укатил в ночь. Я не знал, где живёт его девушка. В мой дом он так и не вернулся.

Вновь появился неожиданно несколько месяцев спустя.

Ещё стояла зима, но дело неуклонно поворачивало к весне. В те года из Вильнюса был постоянный авиарейс до Горького. Загранично элегантный, с зонтом-тростью в руке, в удлиненном темном пальто, всё так же непреклонно довольный жизнью Лосинскас зашёл в мою квартиру. Я искренне ему обрадовался.

Наш вечерний предполагаемый маршрут известен.

Ночью, идя по неубранному от снега пешеходному тротуару автомобильного Канавинского моста через Оку, мы всё чему-то громко смея-

лись, утопая по колено в сугробах. Долго в эту ночь о чём-то разговаривали, сидя в моей уютной комнате со стеллажами книг, с приглушённым желтоватым светом бра, с негромкой музыкой из магнитофонных колонок, строили планы на ближайший день, когда под утро и как всегда неожиданно мой приятель вдруг заявил, что ему срочно нужно уехать, навестить ту самую девушку.

Пообещав к вечеру вернуться, довольно улыбаясь, он ушёл в ранний предрассветный сумрак зарождающегося ненастного дня.

Он не вернулся ни вечером, ни на следующий день. Больше никогда не звонил и не появлялся. Я же вспоминаю сослуживца с необъяснимой грустью в сердце – как о потере.

10

Когда минул год службы, и я по негласной армейской категории перешёл в разряд «черпаков», «стариками» у нас в подавляющем большинстве оказались призывники из Казахстана – русские и казахи.

Русских двое: первый водитель машины, той самой нашей «шишиги» – круглолицый, высокорослый и тонко, по бабьи громко и визгливо смеющийся по поводу и без него, всё чаще как бы поддерживая разговор своего земляка, который, среди этих двоих, был лидером, ведущим. Второй явно из бывалых, приклатнённых. Это чувствовалось и по темам его разговоров в курилке, и по манере вести эти разговоры на жаргоне, да и по внешнему виду отличался от большинства из нас – во рту поблескивали металлические фиксы, нос перебит, лицо рыхлое, в оспинах. Возрастом тоже года на четыре старше. Вернувшись из десятидневного отпуска, он привёз из дома не алмаатинских яблок, а пакет сушёной конопли.

С ними обоими у меня установились ровные отношения, хотя похабных разговоров я не любил, избегал их.

Остальные несколько казахов тоже возрастные и из интеллигентского слоя. Их забрали в армию на пределе призывного срока, после окончания каких-то учебных заведений, возможно техникумов.

Потому что был у нас и один азербайджанец с высшим образованием, так тот отслужил только год. Его призывали или пред поступлением в аспирантуру, или сразу после поступления. Боевой службой он не занимался, в наряды не ходил, а только сидел в тихом уголке командного пункта и упорно писал кандидатскую диссертацию то ли связанную с математикой, то ли с физикой. Подготовленный текст отсылал в Москву, в институт своему научному руководителю, по почте же получал от него замечания, опять писал.

Как-то раз, проникшись ко мне особым доверием, этот subtilный молодой человек с явно выраженной национальной внешностью – тёмноглазый, тёмноволосый, кожа на лице словно покрыта долгим, не проходящим солнечным загаром и даже обильные волосы на худых, тонких жилистых руках были черны – по секрету показал присланный оттиск его научной статьи, вышедшей в каком-то заграничном научном журнале.

Сам оттиск мало меня заинтересовал, хотя до этого в своей жизни подобных документов видеть не приходилось: бесконечные сложные формулы с редкими строчками в несколько фраз на английском языке. А вот текст сопроводительного письма вызвал любопытство. В нём спрашивалось: как автору выплачивать причитающийся гонорар – в рублях или чеками?

Чеки – это та самая советская валюта, которая заменяла все прочие мировые денежные знаки, свободное хождение которых на территории СССР было запрещено. И даже жестоко каралось законом о валютных махинациях. На чеки в специализированных магазинах «Берёзка» можно было приобрести редкостные зарубежные товары.

Но вернусь к ситуации с казахами.

Эти таили ко мне непонятную злобу. Где, в чём и когда мы могли что-то не поделить – я такого не припомню. Вернее всего дело в установлении новой казарменной иерархии, в самоутверждении: мол, мы подчинялись прежним призывам, теперь время подчиняться вам нашей власти.

Разборка между мной и ими вспыхнула неожиданно, на пустом месте. Явно, казахи искали повод, сговорились между собой заранее, приготавлились.

Заканчивалась моя смена дежурного по роте. Казарма пуста, все на плацу, на утреннем разводе. Только дневальный у входа – кто-то из молоденьких солдатиков. Казахи на плац не пошли – они все планшетисты и только вернулись с суточной смены.

Подходят ко мне трое, зовут в гладильную комнату. Захожу. Начинают высказывать какие-то претензии, угрожать. Старший из «интеллигентов» – коренастый, с умным достойным лицом, которое портил выдающийся вперёд армянского типа большой мясистый нос. Этот человек всегда мне был приятен вдумчивостью и рассудительностью. Но сейчас происходило что-то совсем другое вне прежней его обходительности.

Казах первым раздражённо толкает меня в плечо. Я делаю шаг назад и тут замечаю стоявший на гладильном столе у стены утюг с выдернутым из розетки шнуром. И так его чёрная эбонитовая ручка хорошо легла в мою ладонь – словно по её размеру и изготовлена мастером.

С этим утюгом в руке я более уверенно себя почувствовал, разом нашлись правильные слова для ответа, такие, что сыны степей отпрянули, сгрудились вместе в нескольких шагах от меня и незаметно ретировались из гладильной комнаты. Лишь главный, носастый «интеллигент» попробовал на чём-то настаивать, грозить на будущее, но я его понимал – он старший среди своих, старше меня по возрасту, ему не подошло убежать так, как его соплеменникам.

Проторчав в тёмном зале за планшетом полтора года, попрыгав как в аквариуме у карты из оргстекла с масляным карандашом в руке сверху вниз и опять наверх, ему теперь хотелось утвердиться, занять хоть какую-то, пусть видимую, несерьёзную, власть, так как даже до сержанта он не дослужился. Да ради Бога! Только не на мне это демонстрируй, не за мой счёт пытайся утвердить.

С тех пор казахи ко мне не подходили, да и я их не замечал. Раньше относился с сочувствием. Теперь – никак.

Раз уж вспомнил о столкновении со старослужащими, не могу не рассказать ещё об одном случае, который до сих пор не даёт покоя моей памяти.

Как-то точно так же заступил я в наряд дежурным по роте вместе с дежурным по части старшим лейтенантом, фамилию которого сейчас не вспомню, потому назовём его Яблочкиным. Серьёзный, исполнительный, правильный во всех отношениях, он даже внешне походил на одного моего одноклассника, закончившего школу, чуть ли не единственным из нашего класса с золотой медалью.

Старший лейтенант, как и одноклассник, не выделялся атлетическим телосложением. Среднего роста он был изящно худ, форму носил поармейски подтянуто, лицом миловиден и кругл, свеж, как спелое яблочко.

Не в первый раз нам выпадало вместе нести службу. Я знал, что дежурный в двенадцать ляжет спать, тогда как мой черёд наступит только после завтрака и до обеда.

Но в это дежурство в положенный срок Яблочкину отдыхать не пришлось. Он услышал, что у дальней казармы стройбатовцев какой-то шум, похожий на драку или пьяную разборку с криками и руганью.

Позвав меня с собой, он отправился наводить порядок.

На свободном пространстве у казармы, там, где светло от горящих

фонарей освещения, как оказалось, действительно страсти разгорелись не шуточные. Пьяная толпа человек в тридцать выясняла отношения. Я не думал, что наше вмешательство разрядит обстановку. Но старший лейтенант был за строгое соблюдение правил и смело вступил с бунтующей толпой в переговоры.

Страсти откровенно накалены. Я чувствовал – драки не миновать, и потому, как это делают каждый раз сопровождающие офицера патрульные, (был опять, таким образом и меня задерживали) я тоже зашёл за орущих матом пьяных солдат сзади и чуть поднялся на бугорок, чтобы иметь в драке хоть какое-то первоначальное преимущество! Во-первых, с разгона влететь в толпу и кого-то из главных заводил первым снести с ног ударом в голову – это может обескуражить толпу. Во-вторых – внезапность моего появления, тогда как они видят перед собой только офицера, могла внести сумятицу, непонимание, сколько нас и откуда ждать ещё нападения.

Конечно, в тот момент так подробно рассуждать было некогда, всё делал по интуиции, исходя из опыта – но цель была именно такой.

В одной из драк с деревенскими мужиками подобный приём моего товарища здорово нам помог.

Мы, четверо подростков, летом туристами с ночёвкой приехали на небольшую речку недалеко от старинного заволжского городка Семёнов. На следующий день, промучившись ночь от укусов комаров, не выспавшись отправились по пустынной просёлочной дороге в обратный путь. Можно было дожидаться автобуса, но мы не знали, когда он приедет.

Брели под солнцем. Дорога возвышающейся насыпью с двух сторон недавними её строителями освобождена от леса. День томительно жаркий. Вообще та пора летних каникул отличалась неблагоприятной засушливостью.

Прошли какую-то деревню. Она осталась довольно далеко в стороне от дороги. Дошли до поворота, и тут на велосипедах нас догоняют два взрослых деревенских мужика. Один ещё довольно молодой, другому за тридцать лет. Приветливо здороваются и тут же предлагают отдать все деньги, какие у нас есть.

Силы явно не равны. Ни им, ни нам не приходит в голову мысль о возможном сопротивлении. У первого из нас тот, что помоложе, уже начинает шарить по карманам, другой, постарше, полез в дорожную сумку.

Я вижу, как самый старший и самый отчаянный из нашей компании, он единственный уже окончил школу, Колька Пузырёв, осторожно отойдя на шаг-два в сторону, подкрадывается сзади к одному из мужиков, резко обхватывает его удушающим приёмом за горло (мы вместе с Колькой ходили в секцию борьбы при Доме офицеров), валит мужика на себя и кричит:

– Бей!!!

Деревенские этого не ожидали, а мы словно только и хотели услышать такую команду. Озверели!

Ожесточённая драка, кажется, закончилась быстро. Хотя в той ситуации определить время было невозможно – оно словно остановилось. Только бессвязные крики, ругань, звуки ударов, стоны.

Деревенские ни разу никого из нас не успели ударить. Второго вторым мы быстро завалили. У одного из нас был на себе солдатский ремень с тяжёлой звёздной пряжкой. Он, намотанный на руку, тут же пошёл в дело.

Оставив неудачных грабителей валяться в белой дорожной пыли, мы бросились в лес, понимая – если мужикам удастся позвать на помощь, нам несдобровать, а то и не выжить.

Вслед нам с дороги неслось:

– Мы вас на станции поймаем...

Но в этой ситуации с лейтенантом нам вряд ли так же повезёт, вряд ли моя хитрость, как когда-то Пузырёва, поможет – но другого варианта

я не видел. Да и размышлять времени не было, действовал так, словно мною кто-то руководил.

Однако каким-то чудом старшему лейтенанту удалось, хоть и не полностью, утихомирить, притушить смуту. Стройбатовцы пообещали скоро разойтись. Возможно, Яблочкин припугнул вызвать комендантский патруль, или наряд с гауптвахты штаба бригады – я не знаю. Только после полученных обещаний, он повернулся уходить.

Ещё окончательно не веря, что всё благополучно обошлось, я спустился с пригорочка, так никем из толпы и не замеченным, и пошёл немного сзади старшего лейтенанта, прикрывая его со спины. Однако быстрый и короткий взгляд, брошенный им в мою сторону, мне не понравился. Неужели офицер подумал, что я струсил и потому совершил свой замаскированный манёвр.

Конечно, Яблочкин, это было видно по его внешнему виду, телосложению, манере держаться и разговаривать, был из породы рафинированных интеллигентов, а не уличных бойцов, тех, для кого драки при выяснении отношений естественное явление с малолетства. Сомневаюсь, что в своей жизни он хоть когда-нибудь дрался. Случись в эту ночь потасовка, и нам досталось бы кирзовыми сапогами по рёбрам и головам так, что мама не горюй. Потому не буду излишне хвастаться и не скажу, что в предчувствии неизбежного у меня «не сосало под ложечкой». Но сомнение в моём отступничестве я не заслужил.

И вот прошло сорок с лишним лет, а я всё думаю – неужели Яблочкин посчитал меня трусом. Жаль, что не спросил об этом сразу.

Мы молча прошли в свою казарму. Старший лейтенант лёг отдыхать, я остался дежурить. Однако, после продолжительного времени, в нарушение правил, тоже прикорнул часа на два на рабочем столе Яноша Терпака в его комнате художника.

И вроде бы всё забылось, а вот теперь вспомнилось. И жалею, что драки так и не случилось.

Нет хуже ощущения незавершённого до конца дела.

Видимо, пора заканчивать с национальной темой в моём повествовании – обо всех всё равно не рассказать. Только остаётся удивляться – по какому же принципу набирали призывников срочной службы в радиотехнические войска в те годы.

Однако хочется упомянуть ещё об одном эпизоде, связанным с национальной проблемой.

Служил в нашем подразделении высокий, симпатичный, физически хорошо развитый парень родом из Львова. Всё бы ничего, но мучила паренька тоска неудовлетворённости. Главной темой споров у него была одна – бескультурие русских.

Ну, кажется – тебе-то чего переживать. Живи и радуйся, что ты из культурного города. Какой национальности принадлежал служивый, я не интересовался, потому точно сказать не могу, но, кажется, всё-таки украинец.

Летом местом сборов перед отправлением в столовую, на развод или если выдалась просто свободная минутка, была металлическая круглая беседка-курилка перед входом в казарму.

Имела беседка внутри по всей окружности лавочки, а по центру внутреннего пространства на чёрном асфальте стояла выкрашенная серебрянкой мусорная урна в виде цветка тюльпана, куда и бросали окурки.

В курилку собирались все – и рядовые, и офицеры. Это было самое «демократическое» место в части. Единственное, если в ней уже находился офицер, то следовало у него спросить разрешения, хоть в беседке уже и сидели рядовые-сослуживцы вперемешку – курящие и нет.

И вот как-то в этой курилке львовянин, после возвращения из увольнения, в очередной раз закусил удила. Ох и доставалось же заочно от

него жителям города! Да всё опять же за отсутствием с их стороны культуры, да через каждое слово в их сторону матом.

Слушал я слушал этого умника, да и возразил:

– Упрекаешь кого-то в отсутствии культуры, а сам? Я живу в этом городе, но не произнёс ни одного слова матом. А у тебя эта грязь изо рта непрерывным потоком льётся, высококультурный ты наш.

И так это моё высказывание попало к месту, что все находящиеся в беседке захохотали, включая и самого обличителя. Были тут и мои друзья из Макеевки и Днепропетровска. Один успел поработать в шахте, другой на заводе. Хорошие добрые парни, лишённые всякого национального противоречия.

Позже, когда начали терзать общую территорию СССР на национальные угодья, отечественные политологи и публицисты начали патетически вопрошать: «Откуда взялся национализм некогда в дружной семье народов, мирно живших в единой стране?»

Ответно я тут же вспоминал свою службу в рядах Советской Армии и понимал – вопрошающие никогда в ней не служили. Всё, что в конце восьмидесятых годов оказалось для них ново, мною было услышано и увидено ещё в середине семидесятых годов.

И хватит об этом.

11

Вообще, комбату было за что меня не любить – подарком для армейского командования я не являлся, это точно. Однако возникала странная закономерность – как только нужно было кому-то поручить ответственное дело, выбор непременно падал на меня.

Например, требовалось молодого солдата, армянина отвезти в подмосковную школу обучения армейских поваров. Кого послать сопровождающим? Меня. Ни одному офицеру с таким поручением командования возиться не хочется.

Беру я этого грустного солдатика, с тоской по родным армянским горам в глубоко посаженных глазах, переодеваемся в парадную форму, садимся в ночной поезд до столицы.

Устроившись на верхней полке плацкартного вагона, китель свой я кое-как разместил. Но ведь всё равно он помялся.

По прибытии вышли мы с Ярославского вокзала в город. Солдатик в Москве впервые, хочется её немного посмотреть. Да и мне до обратного поезда ещё долго.

Доехали до центра. На улице Горького, у памятника А.С. Пушкину, недалеко от магазина «Армения» повстречалась нам высокая, красивая, породистая армянка и сразу заинтересованно, по-матерински заговорила с моим солдатиком на родном для них языке. Тот грустно отвечал, армянка улыбалась и, похоже, успокаивала. Глядел на них, стоя чуть в стороне под ярким утренним летним столичным солнцем – и ощущал тепло в душе. Вот совсем не знакомые люди, случайно встретились на суетливой столичной улице, а точно родные. И никто им не мешает, суета, творящаяся рядом, не раздражает, потому что они одной крови, одной национальности.

А вот ко мне ни один русский не подошёл, мной не поинтересовался. Нас много, каждого не расспросишь, откуда ты и всё ли у тебя хорошо на душе.

Отвёз я солдатика по назначению. Учебная часть для поваров находилась за окраиной Москвы. Сдал с рук на руки. Возвращаюсь на вокзал, иду по перрону к поезду, подхожу к своему вагону. Уже и проводница билет проверила, а тут патруль – привычные офицер и двое курсантов: высоких, подтянутых, как по команде у меня за спиной выстроились.

Я оказался окружённым, как захваченный в плен выявленный в тылу диверсант. Они серьёзные, я в недоумении – вот же вагон, вот командировочное удостоверение – чего ещё нужно. Сетовал, мол нет до меня никому дела. Ошибался – есть. Вот оказывается кому.

– Почему китель помят? – строго спрашивает офицер.

– Ехал ночью в поезде.

Не догадался добавить, что не в мягком вагоне – в плацкарте, где особые удобства не предусмотрены.

И ладно, если бы своим сермяжным видом их московский лоск портил – мол, понаехали тут всякие, шляются без соображения, что находятся в столице, центре отечественной культуры. Перед иностранцами одна срамота. Тогда, хоть, понятно, в чём претензия. Но ведь, напротив, уезжаю.

По физиономии офицера вижу – хочет забрать в комендатуру, «отчитаться о проделанной работе», выслужиться.

Для меня остаётся вечной загадкой – что происходит в головах у подобных людей? Чем они оправдываются перед своей совестью за совершённые подлые поступки? Или нет у них вовсе этой самой совести?

Однако на этот раз на беду патруля кроме меня ехали в вагоне морячки. Увидели происходящую несправедливость на перроне, вышли бравые ребята в матросках, взяли меня за руки, аккуратно направили в вагон:

– Иди, сержант, иди...

Загородив собой вход в тамбур, они смело и издевательски смеялись над патрулём, и тот ничего не смел с ними сделать. Вскоре поезд тронулся.

Зря я подумал, что у русских нет чувства «близкого локтя». Морячки доказали обратное.

Или нужно, чтобы от нашей части на собрании комсомольского актива 9-й радиотехнической бригады была произнесена речь. Текст выступления есть кому написать. А вот зачитать его с трибуны – такое серьёзное поручение случайному солдатику не доверишь. И вот я в кабинете того самого полковника, которому на задворках столовой, когда ещё служил при штабе бригады, не отдал честь.

Встретил меня старый седой полковник приветливо (видимо, не узнал прежнего нарушителя), предложил сесть на стул возле своего рабочего стола. Спросил, принёс ли с собой текст выступления.

Я ответил утвердительно. Листки в клетку из большой общей тетради, исписанные от руки мелким почерком без просветов, в каждой строчке, несколько волнуясь, теребил в руках.

– Тогда давайте читайте.

– В исторических документах 25-го съезда КПСС, определившего политическую линию и научно обоснованную программу борьбы партии и народа за новые успехи коммунистического строительства в нашей стране и решениях октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС большое внимание уделено укреплению обороноспособности Советского Союза, – начал я читать длиннющий первый абзац, невольно запинаясь чуть ли не через каждые пять слов.

– Ну, нет, так не годится, – по-отечески, потому необходимо, высказал своё неудовольствие услышанным полковник. – Нужно громко, чётко, с выражением... Давайте мне выступление, я покажу, как это делается.

Протягиваю два желтоватых листочка, исписанных синей шариковой ручкой через стол. Примеряясь к чтению, полковник негромко кашлянул, и бодро, громко, торжественно начал:

– В исторических документах 25-го съезда КПСС, определившего политическую линию и научно обоснованную программу борьбы партии...

Тут он остановился, нашёл на столе очки, начал читать текст с начала... и вновь не пошло.

– Да, мелко написано.

Полковник продолжил чтение про себя, но через короткое время вновь попытался произносить текст вслух, возвысив голос до командного. Видимо нашёл для этого подходящую фразу:

– Хотя возможности агрессивных действий империализма значительно уменьшились, его природа остаётся прежней. Опасность войны и сегодня – суровая реальность нашего времени...

Тут опять споткнулся, перешёл на шёпот и в итоге отложил текст в сторону.

– Угу, мелковато, надо бы на машинке перепечатать, да некому. Сегодня воскресенье, а завтра вам выступать... Ну, ничего, справитесь.

Делать нечего. Я, согласившись, молча сидел с чувством некоторой обречённости. Седовласый воин всё-таки дочитал выступление до конца. Кое-что в нём вычеркнул, в частности в предложении об аппаратуре в новом командном пункте он убрал слово «монтажа», вписав сверху ещё более мелким почерком «настройку», подчеркнув тем самым, что работа движется к завершению.

Отдавая обратно листы, как более опытный в подобных делах посоветовал:

– Вы прочитайте выступление несколько раз. А лучше выучите наизусть.

На следующее утро в штабе корпуса на улице Ижорской, в актовом зале я сидел затаив дыхание – только бы не дошла до меня очередь выходить на сцену, к трибуне. И, действительно, пронесло.

Заявленные в списке передо мной говорили так долго, гладко и правильно, что в моём выступлении уже не было никакой необходимости. Так доклад «Шестидесятидневная боевая вахта в честь шестидесятилетия Великого Октября» и остался никем не услышанным, о его содержании знали только трое – его написавший, седой полковник – замполит бригады да я. Однако дополнительно несколько законных увольнительных в город, благодаря ему я получил.

И всё-таки участи выступления в зале штаба корпуса я не избежал. Через довольно короткий срок похожий комсомольский актив, как оказалось, должен состояться в Московском округе ПВО. На него в столицу вновь командировали меня.

Но для начала предстояло подготовить всё тот же текст выступления – теперь от имени 16 корпуса.

Вызвали на улицу Ижорскую опять в выходной день. Почему главные комсомольские дела следует решать по воскресеньям для меня так и осталось загадкой. Капитан, ведавший этими делами, подготовился к встрече заранее. На этот раз выступление оказалось отпечатано на машинке, на дешёвой желтоватой писчей бумаге, строчки через два интервала. Название традиционно длинное, требовательное и оптимистическое.

Пока капитан перебирал бумаги, я обратил внимание, что на столе лежит сложенный вчетверо номер газеты «На боевом посту» с моей небольшой статейкой сверху. К тому времени в этой газете почти каждую неделю, а то и не по разу, появлялись мои публикации.

Хозяин кабинета предложил прочитать им написанное, а сам принял к кому-то названивать.

За окном продолжалось лето. Солнце, клонившееся к закату, желтоватым утомлённым светом поливало довольно пустынную в выходной день центральное городское шоссе. Ленивое спокойствие, казалось, разлито в воздухе. Через открытое окно оно вливалось и в кабинет капитана, заставляя ощущать всё происходящее как нечто несерьёзное, необязательное.

В такую погоду нужно находиться на берегу Волги, у воды, загорать и купаться, а не читать бесполезные, отдающие каменным затвердением строки:

«Коммунистическая партия уделяет исключительно большое внимание обеспечению постоянной и высокой боевой готовности Советских Вооружённых Сил, непрерывному поддержанию твёрдой воинской дисциплины, организованности и порядка в войсках, безупречному соблю-

дению каждым военнослужащим требований военной присяги и общевоинских уставов...»

Вздыхнув, я поднял взгляд на капитана.

Честно говоря, он производил впечатление эдакого делового пофигиста, карьериста, для которого всё неважно, всё не серьёзно. Совершенно ясно было, что ни на грош капитан сам не верит во всё то, что написал, а я сейчас читал.

Понимал офицер, что и я вижу – одно враньё: все эти якобы проведённые совещания на тему «Работа комсомольского актива по поддержанию твёрдого уставного порядка и организованности подразделений» и беседы передовых комсомольцев с личным составом на тему «В.И. Ленин о необходимости строжайшего соблюдения воинской дисциплины каждым военным».

Никто никогда никакие тематические вечера, ленинские чтения и читательские конференции по произведению классиков марксизма-ленинизма не устраивал, «историческими решениями XXV съезда КПСС, майского (1977 г.) пленума ЦК КПСС» не вдохновлялся.

Однако вопросы правды-неправды, видно было, перед капитаном не стояли, совесть его не тревожили. Ему необходимо было до кого-то дозвониться – вот это серьёзно и важно.

Офицер, сняв китель и оставшись в одной рубашке цвета хаки с короткими рукавами накручивал диск телефонного аппарата, временами переводя взгляд на страницы раскрытой записной книжки – сверяясь, правильно ли набирает номер. О моём присутствии в кабинете капитан, казалось, совсем забыл.

О не очень-то его прилежном служебном рвении говорило многое.

На рабочем столе лежала стопка бумаг, собранная не аккуратно, кое-как и, словно, впопыхах. Углы одних листков, уже довольно потрёпанные и выгоревшие на солнце, свисали со стола сбоку, другие, надорванные, мешали главе военных комсомольцев, как следует разложить страницы с текстом будущего моего выступления. Хозяин кабинета не радиво отодвинул бумаги к подоконнику, но саму стопку в порядок не привёл.

Папки скоросшивателей в висевшей на стене застеклённой полке были напиханы кое-как, в беспорядке. В самой полке стёкла сдвинуты в одну сторону. На них падал из окна солнечный свет, и от толстого слоя пыли они казались не прозрачными, а матовыми.

В это время отчего-то мне вспомнилась осень прошлого года и то, как мы, молодые парни окрестных домов, за несколько недель до проводов в армию, принялись громко, в голос петь по вечерам, прежде, чем разойтись по квартирам, несколько строчек из песни, которую откуда-то услышали и запомнили. Вернее всего из очередного художественного фильма про гражданскую войну, и пели эти строчки белые офицеры:

*Так за Царя, за Родину, за Веру,
Мы грянем громкое: ура, ура, ура!*

Каким-то неведомым чувством песня укрепляла душу перед приближающимся расставанием с самыми дорогими людьми, с родным домом, перед отбытием в чужие неведомые края, в незнакомые условия жизни.

И вот начались проводы с застольями, выпивками, пожеланиями «вернуться с орденами на груди».

Часам к десяти-одиннадцати вечера расходились, но непременно несколько человек оставались у подъезда договорить недоговорённое.

Наступившая осенняя ночь, смолянисто тёмная, слякотная, обдавала холодом и неприветливой сыростью. Порывистый, завывающий в вышине ветер устрашающе сильно раскачивал оголённые тяжёлые ветви высоких старых тополей. В свете одинокого фонаря поблескивала мелкая дождевая влага.

Еле заметный парок шёл изо рта, а мы, не жалея, что потревожим сон уже уснувших, досмотревших по телевизору последние передачи соседей, которым чуть свет вставать и ехать в переполненных, набитых битком автобусах кому на заводы, кому на учёбу в институты, кому в конторы и управления, орали во всю мощь своих не совсем трезвых глоток эту особую песню, непонятно чем притягательные эти несколько запомнившихся строк:

*Так громче музыка играй победу,
Мы одолели, и враг бежит, бежит, бежит.
Так за Царя, за Родину, за Веру,
Мы грянем громкое: ура, ура, ура!..*

А теперь казённый кабинет, напечатанный на бумаге казённый текст и совсем не тот офицер, какой нам виделся ночью в прошедшую осень.

Я продолжил чтение:

«Готовясь достойно встретить 60-летие Великого Октября и активно участвуя в изучении и обсуждении проекта Конституции СССР...»

Капитан дозволился и коротко переговорил с тем, кого так настойчиво добивался. Положив трубку, он сказал в мою сторону, но словно самому себе:

– Дал человеку денег займы, а он не возвращает. Вроде на вид порядочный, вместе на вечернем отделении в университете учимся. Хорошо расписку с него получил, подстраховался... – И, взяв в руку газету. – Это твоё статья?

– Да, только в редакции её сильно сократили, поправили.

Честно говоря, фраза о получении расписки меня почему-то потрясла. Газета отложена в сторону. О ней позабыли.

– В тексте всё понятно?

Я кивнул, хотя до конца его так и не дочитал. Всё в этом выступлении дышало враньём и канцелярской мертвячиной.

Капитан рассказал, куда в Москве явиться, и я отбыл восвояси.

Дело в том, что фраза про обсуждение проекта последней, так называемой «брежневской» Конституции СССР, имела для меня своё особое значение.

Документ широко публиковался во всех центральных газетах, о нём неустанно говорили во всех телевизионных новостях, в программе «Время», которую мы смотрели у себя в казарме. Но в репортажах корреспондентов было столько вопиющей несуразности, придуманной неправды, далёкой от настоящей повседневной жизни в стране, что реляции о повсеместном и повседневном всенародном обсуждении проекта Конституции выглядели пошлым фарсом: то колхозники в поле собрались у комбайна и развернув газету якобы вместе её изучают; то остановился случайный прохожий посреди широкого тротуара на Калининском проспекте, развернул всё ту же газету, и около него сразу чуть ли не толпа образовалась, в которой обязательно один пожилой мужчина, другой интеллигентного вида средних лет с женщиной–рабочей такого же возраста; в придачу к картинке обязательно присовокупят кого-нибудь из молодёжи. И вот собравшаяся группа давай, чуть ли не на коленке, эту газету конспектировать.

Смотреть на внешнюю подделку вместо серьёзного разговора об изменениях в основополагающем для государства документе, законе, по которому предстояло жить впереди десятилетия – раздражающе противно. (Кто же тогда мог подумать, что не просуществовать новой конституции и двадцати ле – канет она в небытие вместе с государством.)

Однажды я и высказался вслух: мол, неестественные все эти телевизионные сюжеты, придуманные.

Сказал так, в никуда, ни к кому конкретно не обращаясь. Но как оказалось, дежуривший по части капитан эту мою фразу не только услышал, но и придал ей серьёзное политическое значение.

Было во внешности этого человека что-то неприятное, отталкивающее, даже крысиное: заострённые черты лица, редкие приглаженные волосы на польсевшей голове – ими-то он и старался замаскировать лысину, вытянутая несколько вперёд нижняя челюсть, торчащие уши, масляные глазки, вроде бы излучающие доброту, а на деле за всеми подсматривающие и всё примечающие, выпячивающийся живот, на котором несуразно торчала пряжка офицерского ремня, вздёрнутая выше талии португеей. На дежурство он единственный из офицеров заступал с пустой кобурой – не получая положенного в этом случае пистолета с дополнительной обоймой.

Капитан заканчивал службу и, не достигшего высоких чинов и званий, его смело можно было записать в неудачники. Возможно, это заставляло его мстительно относиться к другим. А, может быть, дело в характере, который и не позволил достичь по службе бОльшего.

Пишу о нём столь нелицеприятно вовсе не из-за того, что донёс на меня. Бог ему судья. Я посчитал происшедшее тогда нелепостью. Нет, его внешний вид был именно таким. Потому и относились к нему более опытные солдаты и сержанты с настороженностью, хотя в общении с ними капитан и пытался выглядеть «рубахой парнем». И как видно – не зря.

Проходит после того моего высказывания у телевизора несколько дней. Конечно, о своих словах давно забыл, потому удивился вызову в кабинет комбата. Иду, ничего не подозревая – на этот раз ругать меня, вроде бы, не за что. Открываю дверь, спрашиваю разрешения войти.

Комбат грозно сидит за столом, который кажется для него, для его мощной фигуры карикатурно маленьким. Во рту дымящаяся сигарета, перед ним на свободной от бумаг плоскости столешницы пачка «Опала» и большая круглая, с ребристым узором по верхнему краю стеклянная пепельница с натканными в неё окурками.

Несмотря на открытую большую форточку оконной рамы, в комнате стоит тяжёлый запах табачного перегара. От никотина часть стены от потолка до середины, выкрашенная белой краской, сейчас заметно пожелтела, как и плакаты на ней с изображением самолётов НАТО разных назначений и модификаций – В-52, F-15, Миражи, Фантомы, Торнадо...

Вдоль стен тесной комнаты на стульях примостились: замполит (майор), мой непосредственный начальник, командир роты (небольшого роста, коренастый интеллигентнейший, доброго склада характера, носящий французскую фамилию майор), комсомольский вожак части (тихий и мало заметный лейтенант), начальник штаба части (старый седой служака, готовящийся выйти на пенсию, майор), кто-то был ещё и... капитан, тот самый, недавно дежуривший по части.

Все смотрят на меня и напряжённо молчат. Я тоже молчу – жду.

– Чем вы недовольны политикой нашей партии и советского правительства? – слишком серьёзно, даже торжественно, без привычного в таких случаях повышения голоса и раздражения произнёс первую фразу комбат.

Я, признаться, опешил.

Меня можно было упрекнуть в нерадивости исполнения сержантских обязанностей, в слабой дисциплине и не всегда по уставу соблюдении субординации (иногда из-за необъяснимого внутреннего противоречия не вскидывал ладонь к пилотке перед старшим по званию – вещь для самого рационально необъяснимая), но записывать в антисоветчики – это уж слишком даже при моем свободолюбивом характере. Да и всё меня прекрасно устраивало в родной стране под названием СССР.

– Нам стало известно, – продолжал несколько хриловатым голосом подполковник, – что вы высказывались против принятия советским народом новой Конституции.

Что нужно было ответить на это утверждение?

Наверно, у меня стали такие округлённые глаза, что и комбат поубавил суровости в голосе.

– Вы говорили такое?

Взрослые мужики, не глупые, имеющие семьи и живущие со мной в одно время, в одной стране, видящие на телевизионном экране то же, что и видел я, получившие образование и носящие офицерские погоны собрались вместе, чтобы задать девятнадцатилетнему младшему сержанту эти несуразные, вопиющие своей глупостью вопросы. Я отказывался верить в реальность происходящего.

Неужели они в действительности считают, что выловили в своей воинской части советского диссидента?

Уже не помню, что ответил в своё оправдание. Вернее всего, что ничего подобного не говорил, потому что действительно не знал за собою такого греха.

– Говорил, говорил, – слышалось сбоку.

Повернувшись на голос, я увидел улыбающегося и довольно кивающего полысевшей, несколько замаскированной остатками волос головой, как бы самому себе в подтверждение, капитана.

Он взял слово, и тогда всё стало ясно – речь шла именно о той моей фразе у телевизора: «Неестественно стоят». И о чтении посторонними людьми одной газеты посреди Калининского проспекта в центре Москвы.

До того мне от этой вопиющей несправедливости стало обидно (о подлости, которую совершил капитан, я и подумать не успел) – чуть не до слёз. Помню, в запальчивости говорил офицерам, что могут на меня наговаривать и другую всякую чушь.

Иными словами, эта «проработка» закончилась быстро. И я закипел, и офицеры, похоже, поняли, что тут они перестарались с бдительностью. Хотели напугать, приструнить слишком самостоятельного и строптивного сержанта, а получилось вон что.

В этой ситуации командование не учло одного – сам я себя ни самостоятельным, ни строптивным не считал и не чувствовал. Так же, как не понимал силу печатного слова в газете, силу опубликованных заметок и статей. То, что для одного являлось своего рода забавой, то для командования нервотрёпкой и вечным опасением – вдруг напишет что-то не то.

Меня отпустили. Сами ещё заседали. Похоже, сошлись на том, чтобы не выносить сведения об этой истории за пределы части.

Прошло немного времени. Вновь «политическое» поручение поступило в Центр АСУ от вышестоящего командования – найти, кто бы не подвёл, а смог достойно выступить с высокой трибуны Московского округа ПВО, тем самым поддержав честь корпуса.

Так вновь линия судьбы, сделав круг, издевательски сомкнулась, заставив «антисоветчика» читать пафосные, неискренние строки о «изучении и обсуждении проекта Конституции СССР».

В Москву я приехал подготовленным. В штабе округа объяснили, как добраться на электричке до воинской части, где можно переночевать. Попутчиками оказались лейтенант и прапорщик.

На подмосковной станции первым делом прапорщик объявил, что, прежде чем направиться в казарму, нужно купить спиртное. Лейтенант его безоговорочно поддержал. Я перечить тоже не стал. Сбросились, зашли в магазин, купили спиртное, а закусить – ничего. На полках шаром покати.

Прапорщик уверил, что зелёный горошек в металлических банках замечательная закуска – он множество раз пробовал. Купили горошек – всё равно выбирать не из чего.

Разместившись в казарме, где койки не как у нас в два ряда, а каждая в отдельности, сели у тумбочки выпивать. Только опрокинули по стаканчику – нагрянул с проверкой (хорошо ли устроились) какой-то значительный генерал-майор.

Выпивку с закуской спрятать успели, а глаза-то куда денешь.

Генерал добродушно расспрашивает, всё ли нас устраивает. Прапорщик с лейтенантом заверяют – замечательно. А я, чтобы генерал не запо-

дозрил лишнего, начал дополнительно объяснять от себя, что, мол, надо бы лучше – да некуда.

Гляжу, собутыльники мои побледнели, руками всякие знаки делают, показывают, чтобы замолчал, а я, напротив, всё более подробно и обстоятельно объясняю. Есть во мне такая черта характера – когда что-то запрещают, мне, напротив, сделать или сказать хочется.

Генерал с вполне довольным видом, улыбаясь выслушал, пожелал хорошо отдохнуть перед завтрашним высоким собранием, и вместе со свитой удалился. Лейтенант и прапорщик облегчённо выдохнули и напустились на меня:

– По тебе видно, что не трезвый, нет, разглагольствуешь.

Мирно допив вино, сходили на ужин и расположились спать. Лейтенант с прапорщиком ещё что-то обсуждали, у них были общие интересы. У меня с ними – нет.

Большой зал гудел, когда вошёл я в него на следующее утро. Лейтенант с прапорщиком куда-то сразу подевались. Начались выступления. Чувствую – ладони моих рук начинают становиться влажными, сердце незнакомо и часто колотится. Столько больших генеральских звёзд вокруг, о полковниках и говорить не стоит, а мне нужно будет подняться на высокую сцену, встать за трибуну, прочитать без запинки и желательно с выражением текст, который напрочь вылетел у меня из головы.

Вот и знакомый лейтенант бодро вбежал по ступенькам, чеканно прочитал по принесённым с собой бумажкам правильные призывные и утверждающие фразы. Подумалось – следующий я. Не зря же судьба свела вместе.

Ведущий заглядывает в свой список, приготовившись назвать следующего выступающего, но к его уху наклоняется один из присутствующих за столом президиума генералов, тот, что ближе к нему и что-то шепчет.

Произошла небольшая пауза. Зал замер в молчании.

– Товарищи, тут поступило предложение сделать перерыв на обед и завершить прения по докладу.

Зал оживлённо и одобрительно загудел.

Так что и на этот раз текст свой я не прочитал (не скрою – к моей радости), однако Благодарность – красивую бумагу командования округа с подписью и печатью – незаслуженно получил. Хотя, почему, собственно, незаслуженно. Формально – да, а по существу – всё заработано. Посылали бы другого, более достойного – я же не напрашивался, сами отцы-командиры выбирали.

А выступление это всё-таки пришлось прочитать немного позже, в актовом зале штаба 16 корпуса Московского округа ПВО на улице Ижорской, куда пригласили комсомольский актив из ближних и дальних подразделений. С учётом полученного предыдущего опыта – это для меня были уже пустяки.

12

Отдельно в ряде ответственных поручений, возложенных командованием, стоит командировка в Запорожье за молодым пополнением – призывниками. Поехал тогда на Украину незнакомый майор не из нашей части, в помощники которому определили двух сержантов из Центра АСУ – меня и сослуживца, белоруса, призванного из Минска.

Незадолго перед этой поездкой я как-то и высказался вслух художнику Терпаку, читающему газету «На боевом посту», что пишут её корреспонденты плохо, не интересно.

– Что, ты бы лучше написал? – скептически откликнулся Янош.

– Конечно, – убеждённо ответил я, совершенно не понимая, что в газете далеко не всё зависит от автора строк. Больше значение имеет, кто и с какой целью его редактирует и правит.

– Так напиши, – уничижающее недоверчиво бросил фразу мой приятель.

На том разговор и завершился. Однако самолюбие моё было задето основательно. Уединившись в комнате политпросвещения, в тот же день я написал заметку, или даже две, и впервые в жизни отправил письмо в редакцию.

Отправил, и совершенно об этом забыл. Что называется – напроочь! Словно и не было этого со мной.

Да и новая командировка подоспела.

На Украину в своей жизни ехал впервые.

Если быть совсем точным, то до этого формально на территории республики я дважды побывал – в Крыму: зимой в летние каникулы ещё в девятом классе и летом перед призывом в армию. Но на полуострове присутствие другой национальности совершенно не ощущалось.

Крым – место особое и с Украиной полуостров у меня никогда не ассоциировался. Даже после разделения страны и когда на полуострове начались политические баталии по вопросу, кому принадлежит эта земля: русским, украинцам или крымским татарам, которых к тому времени вернули на земли их прежнего проживания.

Напротив, чаще всего вспоминал свою первую поездку к морю. Многие замечательные места Крыма нам, школьникам из Горького показали экскурсоводы: Бахчисарайский дворец и знаменитый фонтан в нём; древний город на плато Чуфу-Кале и Воронцовский дворец; героический Севастополь с потрясающей панорамой его защиты и музей картин Айвазовского в Феодосии; могилу Александра Грина на кладбище Старого Крыма и чудесную Ялту...

Десять дней колесили по полуострову во все концы в удобном туристическом автобусе, каждый раз выезжая из гостиницы, располагавшейся где-то ближе к окраине Семфиополя.

Там же, в гостинице руководители группы, сопровождавшие нас во время всей поездки из Горького в Симферополь и обратно, две милостивые девушки, устроили в новогоднюю ночь для нас весёлое торжество.

Перед этим несколько мальчишек купили в магазине, по невероятно дешёвой местной цене, бутылку вкусной шипучки градусов в пять крепости и выпили напиток для веселья прямо на улице, где хоть и лежал снег, но было совсем не холодно, не морозно. От выпитого новогодняя ночь приобретала особое настроение, подталкивала к влюблённостям в красивых, нарядных сверстниц. Они отвечали взаимностью – короткой, невинной, одной-двумя обнадёживающими фразами, но и их было достаточно для ощущения взросления, волнующего сердце.

Зимнее море меня, впервые его увидевшего, восхитило не меньше, чем прочие южные красоты. Вязкая зелёная вода с натугой была о каменистый берег – словно её что-то сдерживало, не давало разогнаться сильным валом. Туго откатываясь назад, вода будто устремлялась обратно, туда, за далёкий неведомый горизонт, откуда двигались к берегу новые волны с белёсыми редкими гребешками наверху.

Поездка перед армией запомнилась совсем иначе.

Я вышел из поезда в Джанкое ночью. Вагон к этому времени оказался почти пуст. Остановившись в одиночестве на земляной платформе, огляделся, не зная куда идти. Здания вокзала видно не было. Меня должны были встретить – но, как видно, запаздывали.

Вот уже и последний вагон скрылся из вида, мигнув на прощание красным фонарём окончания состава. Что дальше – не представлял.

В растерянности стоял под тёплым южным небом, станционное освещение оказалось несколько в стороне. Но тут явились встречающие – муж родной сестры отца и их сын, мой двоюродный брат.

Не помню сейчас: или поезд, действительно, выбился из графика и запоздал, или он всё-таки остановился на каких-то запасных путях,

только в момент появления незнакомых ещё мне, но, всё же, родных людей я испытал облегчение.

Пройдя тёмными закоулками, подошли к грузовой бортовой машине. Дядя с сыном сели в кабину, я забрался в кузов – тронулись.

Прохладный ветер в ночи безжалостно трепал мои длинные по плечи волосы – отращенные по тогдашней моде. Дорога до Красноперекопска оказалась не близкой. Меня встряхивало и подбрасывало на ухабах и кодобинах. Разглядеть что-то по сторонам ничего не возможно: только белый свет фар, упёршись в чёрную, маслянисто поблескивающую асфальтовую полосу, освещал путь впереди.

«Где же море?», – спрашивал я себя, с нетерпением пытаюсь разглядеть что-либо похожее на большое водное пространство, не понимая, что машина несётся по степи.

Море откроется через два дня, когда окажусь в домике на берегу туристической базы, принадлежащей одному из местных предприятий.

Честно признаться, тогда нам, жителям большой России, гражданам СССР, было всё равно где находиться – мы ощущали себя единой страной без внутренних республиканских границ, которые существовали формально. Многие из людей понятия не имели, где эти пределы начинаются и где заканчиваются.

В тот приезд, признаюсь честно, был даже удивлён, когда услышал по радио в Красноперекопске украинскую речь диктора.

– Это что такое? – спросил у двоюродного брата.

– Территория Украины, – ответил тот.

Я был уверен, что нахожусь на русской земле, а тут... Да и в городах Крыма ничего не напоминало об Украине: вывески на магазинах, разговоры людей между собой, газеты в киосках – всё, как в родном городе.

Правда тот же брат, усмехаясь, поделился случившейся с ним неприязнностью: за то, что в школе на уроке украинского языка на вопрос, как он понимает его значение, он дал ему такое определение: «исковерканный русский». Сейчас у него с оценкой по этому предмету большие сложности.

А от тётушки услышал рассказ о недовольстве людей, волнениях, произошедших в Крыму после передачи территории из состава РСФСР в состав УССР. Но мне, семнадцатилетнему какое дело до забот. Это сейчас понимаю – определённое национальное напряжение никогда не затухало в Крыму. Как и не терялась память о зверствах оккупантов-румын и помогавших им крымских татар – об этом вдруг вспомнил однажды за ужином дядя.

Я ждал встречи с морем.

Купался много и ненасытно. Несмотря на предупреждение, в первый же день наглотался солёной воды, мучился тошнотой. Ловили с братом марлей креветок, варили их на костре и ели не передаваемое по вкусу белое нежное мясо этих небольших рачков, вынимая его из покрасневших от кипятка панцирей.

Те, кто постарше, небольшим бреднем вытаскивали на песчаный берег камбалу небольших размеров, другую рыбу.

Любил бродить вдоль берега, удаляясь в совершенно безлюдные места, туда, где песчаная коса, заваленная остро пахнущими йодом водорослями уходила в море. С той стороны, к которой не достигала волна большой воды, всё пространство мелководья, напоминая кисель, было наполнено тельцами маленьких медуз – почти прозрачными или слегка розоватыми. Оттого этот участок моря казался мёртвым.

Уходил в сторону от берега, вступал в почти горячую воду мелкого лимана, у которого, казалось, не было берегов – так он велик, просторен и гладок, и по дну которого мелкие рачки таскали свои домики-ракушки, оставляя на песке извилистый след. Сколько не иди по этой воде, глубже, чем по колено места не найти.

Вечером ел прохладную, сочную и сладкую мякоть спелого арбуза. Выкатывал эту зелёно-полосатую громадину из-под кровати и хрустко взрезал длинным острым ножом. Арбузы лопались, стоило надавить на них ножом сверху, обнажая белый сахарный налёт внутри плода.

Дядя привёз всё на той же бортовой машине их штук десять. Чтобы не носить тяжесть на руках, скатывал арбузы как мячики с высокого глинистого коричневого склона, усталого сухой, жёсткой, выгоревшей под жарким солнцем степной травой, на жёлтый песчаный берег. Я их ловил внизу, чтобы не укатились в воду, где арбузы могли подхватить и унести поднявшиеся морские волны.

Затем с натугой перетаскал всё в домик, ощущая тяжесть каждой гигантской ягоды. Девать арбузы некуда, места в сколоченном из досок летнем домике совсем мало. Пришлось отправить арбузы под лежанку, в прохладу и сумрак.

Дядя научил закусывать сухое кисловатое крымское вино арбузной мякотью с белым хлебом. Это оказалось необычайно вкусной едой.

Поздно вечером, накупавшись и найдившись по песку, ложился в постель, укрывался простынёй и чувствовал, как тело, набравшее в себя дневной жар, начинало его отдавать, и невольно приходило ощущение, что залез в печку.

В эти минуты не думал о предстоящей службе в армии, не представлял, что как-то иначе буду пересекать границу России с Украиной. А ведь всего через двадцать лет такое свершилось. Правда, к тому времени обзавёлся семьёй, родились дети.

Первое испытание вновь возникшей границей произошло в 1995 году, когда отправившись на отдых в Одессу, в один из прибрежных черноморских санаториев.

И это стало полной неожиданностью. Граница вдруг образовалась на пройденном и изведанном пути.

Местные пограничники нам всячески и настойчиво давали понять, что мы въезжаем в суверенное и не очень к нам дружески расположенное государство.

– Этот поезд давно следует отменить, – недовольно буркнул один из стражей вновь возникшей границы, возвращая внимательно изученные наши паспорта, – зачем он нужен.

Это тем более было удивительно, что российскую границу мы преодолели незаметно. Ночью к нам в купе никто не стучался, спящим детям никто в лицо фонариком не светил, паспорта не проверял.

Надо ли после этого объяснять, что не смотря на полное доброжелательное отношение к нам одесситов, на украинское черноморское побережье мы больше не ездили.

Но время словно хотело меня утвердить в первоначальных чувствах.

В 1999 году, выезжая из Москвы в Адлер по служебным надобностям, я взял билеты на поезд, отправляющийся с Курского вокзала, совершенно не предполагая, что он может часть пути идти по территории Украины. Подозрение чего-то не совсем ладного возникло после Орла, когда вагон заметно опустел. После Белгорода я в нём и вовсе остался один. Тогда пошёл к расписанию полюбопытствовать – в чёт дело. И тут всё понял. Да и проводница предупредила меня одинокого предупредила, мол, поосторожнее теперь, поедем по Украине. Запирайтесь в купе как следует.

И вот она, нежеланная встреча.

– Для чего вы въезжаете в Украину?

– Я не въезжаю. Я еду в Адлер и понятия не имел, что попаду к вам. У меня нет никаких дел на Украине.

– Покажите ваши вещи.

– Зачем? Ведь у вас мой паспорт и билет, там сказано, что я гражданин России и еду из одного русского города в другой.

– Сейчас вы находитесь на территории суверенной Украины. Покажите вещи.

Эх, русский пограничник. Что же ты-то даже паспорт мой не открыл, только, проходя мимо купе, заглянул в открытую дверь да поинтересовался, есть ли он у меня вообще, и пошёл дальше. А границу от шпионов вот как надо охранять. Вот как защищать державный суверенитет.

Я поставил на сиденье сумку. Внимательно осмотрев её содержимое, перечитав бланки договоров и железнодорожных накладных (я ехал продлевать контракт с покупателям, которому поставлял вагонами в Адлер пиломатериал) пограничник наговорил мне напоследок ещё всяких строгостей и предупреждений, чтобы проникся я, чужестранец, украинской самостоятельностью, и вышел. Его привязчивость я потом оценил – денег хотел с меня выжать.

А уже на ближайшей станции вагон набился битком. Из свободной и независимой Украины ехали люди в Ростов-на-Дону, Сочи, Адлер на заработки. В родных пределах работы не было. Независимости сколько угодно, а зарплаты ноль. Хоть ложись и помирай.

Город Запорожье тоже из себя особую национальную территорию, отличающуюся от исконно русской, не напоминал. Разве что в вывесках названий некоторых магазинов вдруг проскальзывали непривычные буквы и некоторые слова казались исковерканными. В остальном – всё как в Горьком: пятиэтажные дома из серого силикатного кирпича, узнаваемые троллейбусы, люди, разговаривающие только на русском.

Несколько дней нам с сослуживцем пришлось прожить в гостинице «Театральная» в двухместном номере. Командир, майор, уехал к родственникам. Похоже, ради этого он и отправился в поездку. Мы оказались полностью предоставленными самим себе – гуляли по городу, знакомились с какими-то случайными людьми.

Запорожье производил впечатление скучного, мало достопримечательного рабочего города.

Пройдёт время, я вновь не единожды побываю здесь с группой известных всей стране людей, но то давнее впечатление о городе и тогда не изменится.

Гостям станут показывать вновь воссозданный из клуба храм, около которого воздвигнут величественный памятник Андрею Первозванному; пригласят вместе со скульптором Вячеславом Клыковым на открытие памятника князю Святославу, победителю хазарского каганата на берегу Днепра; покажут Запорожскую ГЭС, казачье предание на острове Хортица и древний дуб, о котором есть своё особое предание. Мы пройдем по цехам знаменитого моторостроительного предприятия «Мотор Сич» и проплывём на кораблике по окутанной сумраком широкой реке. Много всего будет славного и интересного. Но именно город, его улицы и жилые кварталы окажутся прежними, памятными, не изменившимися с той давней весенней поры.

Призывников в запорожский пункт сбора привезли из разных уголков области: сельской степной местности (даже один главный врач районной больницы загремел в набор – он беспрестанно курил трубку и переживал о недавнем полученном его учреждением новом медицинском оборудовании), из крупных рабочих городов и рыбацких посёлков Приазовья.

Иными словами – подобрался народ разношёрстный. Те, что помоложе, – шибутные, суетливые пытались соблазнить свою выгоду у нас, сержантов, полагая, что будем их командирами на весь предстоящий срок армейской службы. В поезде до Горького пытались устроить попойку, раздобыв для этого где-то бутылки кубинского рома и достав из сумок полученные в доме в дорогу крупные куски оглушительно вкусно пахнущей вяленой рыбы.

Ром в советское время в винных отделах продовольственных магазинов продавался свободно и стоил дешевле «Русской» водки. Удлиненные

ми бутылками тёмно-коричневого стекла с золотистой завинчивающейся пробкой сверху были заставлены полки витрин.

Позже, когда через восемь лет я побывал на Кубе, в Гаване, то поразился дороговизной этого алкогольного напитка даже в стране его производящей.

Вернулись мы в часть благополучно. Привезённых новобранцев сдали в полном комплекте, без потерь. Получили от командования дополнительные увольнения в город, чтобы сходить в баню. К тому же приближался срок серьёзных учений.

В это время, на КПП, случайно просматривая свежий номер газеты, я и увидел свою первую в жизни публикацию – заметку, под которой стояли моё звание младшего сержанта и фамилия.

Словно гром прогремел над головой – таково было потрясение. С той поры дальнейшая судьба оказалась предрешена. Я об этом ещё не догадывался, но всё случилось именно так. С того момента я писал постоянно и много – постепенно проходя все стадии публикаций (окружная газета, вечерняя городская газета после демобилизации, тонкие столичные малоавторитетные журналы) до появления первой книги в местном издательстве с повестью, писавшейся упорно со многими переделками и сомнениями, порой доводившими почти до отчаяния, года два.

Впрочем, это смятение духа оказалось мелочью, по сравнению с тем, что надвигалось на страну – уничтожение СССР, смена политического и экономического курса, принёсшего огромному количеству людей неисчислимое горе, страдание, войны, смерти, грабежи и убийства.

13

Итак, очередное задание командования оказалось без происшествий выполненным, но это отношение к моей персоне комбата несколько не улучшило, а возможно, только усугубило.

Подполковник оставался всё так же хмур. Взгляд его, когда обращался в мою сторону и останавливался на пилотке, (комбат смотрел на подчинённых так, что глаза его словно что-то выискивали на голове у солдата, он будто рассматривал звёздочку на головном уборе, а не смотрел на лицо), казалось, так и говорил – по какому бы поводу сделать тебе выговор? Ответа на этот немой вопрос не находилось, внешнего повода я не давал. Тогда с некоторым разочарованием комбат проходил мимо, и меня словно обдавало холодом его недовольства.

Иногда командиру казалось, что подходящий повод для вынесения самого серьёзного взыскания найден.

Однажды, всё произошло ещё зимой, кто-то из офицеров, зная, что я местный житель и имею возможность попросить отца достать быстрорастворимый индийский кофе, попросил об этом одолжении. Продавались в то время металлические коричневые банки с затейливым рисунком по окружности.

Индийский кофе дефицит. Передал просьбу отцу. Он купил всё необходимое. (Кстати, не тут ли скрывалась ещё одна причина, по которой подполковник меня недолюбливал.) Офицер выписал увольнительную.

Вечером к положенному сроку возвращаюсь в часть. И почему-то вышел из автобуса на одну остановку раньше – не напротив центрального корпуса областной больницы, а у дороги, ведущей в таксопарк и по которой обычно бегали в самоволку солдатики – она выводили прямо к продовольственному магазину с винным отделом.

Вот по этой дороге со свёртком в руке, напоминающим завернутую в газету бутылку вина, я бодро зашагал к воинской части, собираясь подойти к КПП сбоку по прочищенной трактором вдоль забора противопожарной полосе.

В этот день смену дежурного по части взял на себя сам комбат.

Как он оказался на углу воинской части и таксопарка, специально ли караулил возможных нарушителей дисциплины, или как радивый, за-

ботливый хозяин обходил дозором вверенную ему под командование и неусыпное сохранение территорию – для меня осталось загадкой. Только вдруг впереди я увидел высокую фигуру в шинели и в шапке, словно из ниоткуда явившуюся на фоне заснеженного, облитого лунным светом белого пространства. Из тёмного неосвещённого угла расходящихся в разные стороны заборов, она вышагнула вперёд на дорогу противоположной полосы, и замерла в ожидании.

Я тут же догадался – кто это. Хотелось бы куда-то свернуть, избежать встречи – но сделать это невозможно. Вокруг глубокий снег. Да и не чувствовал я себя ни в чём виноватым. Однако, душевная неуютность поселилась в моей груди.

Лицо подполковника засветилось радостью, когда я приблизился к нему вплотную и остановился. Обойти невозможно. А взгляд командира так и говорил: вот он, настал час настоящей расплаты, поймал с поличным.

– Здравия желаю, товарищ подполковник! – поприветствовал я командира.

В ответ он тоже вскинул руку к шапке. Свёрток в моих руках словно бы не замечает.

– Из увольнения возвращаетесь? – с отцовскими добрыми нотками в голосе произносит комбат и, как мне показалось, с трудом сдержанной радостью. Так в тихом, укромном месте наконец-то встречают ненавистного долголетнего врага, которому теперь-то уж точно не уйти от возмездия.

Подтверждаю – возвращаюсь из законного увольнения, не нарушая срока, указанного в выписанном предписании.

– Ну пойдёте вместе.

Пропустив вперёд, комбат зашагал следом за мной. За спиной я слышал хриловатое прокуренное дыхание, хруст замороженного и частью обледенелого снега под подошвами сапог.

Эти хромовые, немного не доходившие до колен сапоги всегда были у комбата начищены до зеркальной чистоты и сейчас, наверняка, временами отрывистым блеском отражали лунный свет. В обычной повседневной службе офицеры носили ботинки, но заступая дежурными по части, затягивались в португею и одевали сапоги, тем самым как бы приводя себя в особое, более воинственное и походное состояние.

Командир не знал, что оценив спокойно создавшуюся ситуацию, я возрадовался и уже начал придумывать, как его обыграть.

Подполковник мыслит стандартно – если к части пробираюсь тропой самовольщиков со свёртком в руке, значит ничего иного в нём, как бутылка спиртного завёрнутой в газету быть не может. Другого, я уверен, он не допускал.

Прошли КПП. Бессменно дежуривший таджик, несколько напуганный явлением командира, вскочил со стула, козырнул за стеклом своей будки, обогретой электрическим калорифером, и поспешил нажать на педаль металлической вертушки. Та, сваренная из покрашенных в синюю краску труб, негромко взвизгнула, пропуская нас на территорию.

По главной, до асфальта очищенной от снега, подметённой дежурным дневальным дорожке подошли к казарме, открыли в неё дверь, вошли. Пахнуло знакомым армейским теплом, смешанным с запахом мастики и оружейного масла.

– Рота, смирно! – заучено прокричал у тумбочки дневальный.

– Вольно, – добродушно ответил командир, и предложил мне пройти в комнату дежурного по части.

За стеклом – я это заметил быстрым взглядом – находилось несколько прапорщиков и офицеров. Пока подполковник не ушёл, все они до урочного времени ожидали возможного его вызова.

Комбат показал мне рукой на дверь в офицерскую комнату.

– Заходите.

Я зашёл.

– Показывайте, что тут у вас, – как бы впервые обращая внимание на свёрток в моей руке, предложил подполковник.

Офицеры и прапорщики, кто с сочувствием, кто с любопытством, кто со злорадством (и этого не исключаю) смотрели на меня. Только тот, для которого я принёс кофе, взволнованно напрягся – не подведу ли его.

Во всей казарме, как показалось, наступила мёртвая тишина.

Эх, не хватило опыта и хладнокровия по-настоящему разыграть ситуацию. А можно было бы потянуть время, будто бы выкручиваясь из сложной ситуации. Сказать, что это мои личные вещи. И хоть командир имеет право их досматривать, но в этот раз можно бы обойтись и без строгости. Комбат наверняка бы занервничал, повысил голос, даже закричал в нетерпении: мол, никто меня не досматривает, а предлагает добровольно показать, что в свёртке.

И вот, когда ситуация раскалилась до предела...

Да чего уж мечтать о том, чего не случилось.

Я начал медленно разворачивать газеты, плотно облегающие банки. Не специально – быстрее не получалось.

Комбат нетерпеливо следил за движениями, за взволнованно нервным разрыванием слоя газет. Я не выдержал, и переломил свёрток. Показались светлые, с выпуклыми кругами жестяные доньшки банок.

В комнате повисла неловкая тишина.

– Хорошо, идите, – наконец разочарованно проговорил комбат.

Собрав со стола обрывки газет, я прошёл в свой кубрик и, честно говоря, с облегчением вздохнул. Бояться нечего, но отчего-то нервное напряжение оказалось не шуточным.

Надоевшие банки бросил в прикроватную тумбочку. Только через неделю зашёл за ними, попросивший их достать офицер.

Памятью о произошедшей неудаче, в дальнейшем комбат стал выискивать более надёжный повод для моего наказания.

В нашей части не было библиотеки.

По началу службы это расстраивало, но вскоре обжившись на новом месте, стал читать не только то, что ходило по рукам у сослуживцев (а это, большей частью, случайная литература, из которой только толстенный роман о воре Лёнке Пантелееве несколько задержался в памяти), но и привозить книги из дома. Для чтения уединился туда, где спокойно и малоллюдно, подальше от случайных глаз.

Территория части довольно большая, при желании тихий уголок найти можно. В крайнем случае, в комнате у связиста. Его мастерская-кладовка на командном пункте никем не проверялась.

Нет-нет, да книги из тумбочки у кровати исчезали. Чаще всего – бесследно. Это огорчало, но вскоре успокаивался, когда случайно узнавал, что их читают, передавая из рук в руки – в очередь. Иными словами и за забором без книг я не жил. Иначе уж было бы совсем тяжело.

Служил в нашей роте один воин – ну совсем горький пьяница. Как его ни наказывали, как за ним не следили – всё равно умудрялся найти спиртное, напиток. И не то чтобы от него пахло перегаром или ходил нетрезвой походкой, а, что называется, в хлам, вусмерть.

Раз случилось с ним такое, что думали – не выживет. Не могли разбудить двое суток подряд – спал на своей койке, не раздевшись, в гимнастёрке с почти неощутимым, неслышным дыханием.

Когда, наконец, солдат очухался и улыбчивый пошёл, как ни в чём не бывало в столовую на обед, комбат решил провести со всеми нарушителями воинской дисциплины воспитательную беседу. Набралось таких три человека.

Как я попал в эту тройцу, почему – и сейчас себе объяснить не могу. Тут может быть только одно – предвзятое и несправедливое отношение комбата к моей персоне.

Всех троих из казармы строем, один за другим, повели в домик, стоявший на отшибе – штаб Центра АСУ.

Докадывал по нарушениям прапорщик, которого я в своих записках ещё не упоминал. Говорю же, их в части было как... Такой простоватый, почти придурковатый мужичок с минимумом интеллектуального груза в голове. Он, то овощным хранилищем заведовал, хотя какая там надобность в руководстве была – не понимаю. То командовал на кухне насчёт «истребления мух механическим путём». На момент воспитательной работы, его единственным прямым подчинённым оставался свинар с вверенными ему хрюшками. Я этого прапорщика мало знал.

И вот, докладывая комбату, он показывает на первого нарушителя и обличает того в пьянстве, но как-то понимающе, сочувственно.

Подполковник смотрит на вошедших гроза-грозой. Он и сам прекрасно знает о пьянстве солдата, сейчас виновато улыбающегося перед ним, но слова прапорщика выслушивает внимательно. Похоже, алкоголизм старослужащего, готовящегося к скорой демобилизации, и ему не кажется чем-то уж совсем порочным и необъяснимым с житейской точки зрения.

Виновник выволочки это чувствует, на грозные обвинения в свой адрес легко, почти радостно улыбаясь, даёт клятвенные заверения больше не пить. Командиры уверены – слов своих солдат не сдержит, но делают вид, что ему верят.

Доходит очередь до второго.

У этого за территорией части завелась любовь. Каждую ночь в самотовлке. Возвращается только утром. Его тоже долго и упорно стыдят, объясняют, кто в этой ситуации в организме солдата ведущий, а кто ведомый.

Солдат стоит совестливый, искренне понимающий, что он нарушитель дисциплины, устава, краснеет, но ничего с собой поделать не может.

И тут всё в итоге заканчивается шуточками.

Доходит очередь до меня. И самому интересно – какие выдвинут обвинения.

Комбат вновь хмур, серьёзен. Всё, шутки кончились. Ждёт, строго взирая на прапорщика, перечня поводов моего присутствия на этой расправе. У него и без прапорщика есть, что мне сказать, какие обвинения предъявить – я виноват одним тем, что нахожусь на территории вверенной ему воинской части. Но он ждёт слов прапорщика, и я вижу, как потихоньку себя заранее распяляет. И тот, не находя слов от возмущения, восклицает:

– А этот книжки читает!

– И в газету пишет, – добавляет подполковник.

Тёмные прокуренные усы его начинают недобро подрагивать.

Для меня это становится открытием. По наивности своей, мне казалось, что свои заметки вижу и читаю один я, не подозревая, что их читают и сослуживцы, и отцы-командиры, и командиры вышестоящих штабов. Наконец – в самом штабе Московского округа ПВО, чьим печатным органом является газета «На боевом посту».

– Разве пишу неправду, – вырывается у меня будто не по моей воле первая пришедшая на ум фраза.

Честно признаться – заметки большей части прославляли родную часть. Писал, как правильно несут службу мои товарищи, как они стараются быть хорошими солдатами. Как красиво художник оформляет наглядную агитацию, как спрашивают во время учений со своими обязанностями планшетисты. Называл фамилии тех ребят, которые служили рядом со мной, которых хорошо знал. Но за всё время ни один из них не подошёл ко мне и не сказал, что прочитал заметку с упоминанием своей фамилии.

Правда, я писал и о происшествиях, с которыми доблестно справлялись мои сослуживцы – будь то небольшой пожар или ещё что-то. Тут, по моему недомыслию, выносился сор из избы, который, вернее всего, командир Центра АСУ не хотел бы видеть в центральной окружной печати.

И всё-таки печатное слово в Советском Союзе – сила!

– Правду, – поспешно подтверждает комбат мои слова и тут же даёт понять, что аудиенция закончена.

Назад в казарму возвращаемся вольными людьми, вразброд, без прапорщика, задержавшегося в кабинете, разговаривая о совершенно посторонних вещах, не имеющих отношения к случившейся «проработке».

Не стану утверждать, что служба в армии, был правильным и безгрешным солдатом. При желании, меня было за что наказывать. Но положила руку на сердце с полной уверенностью могу утверждать – ничем особенным в этом отношении от остальных я не выделялся.

Уходил в самоволку? Да. Но не бесшабашно, а так, чтобы, не подводя дежурного офицера, не нервирова его к вечерней поверке быть на месте.

Выпивать, больше для некоторого куража, чем по потребности – случалось совсем изредка и в тех размерах, когда этого никто не мог заметить по моему состоянию.

В этом вопросе как-то раз произошёл и вовсе наикурьёзнейший случай.

Поручили мне в хорошо знакомый штаб 9-й радиотехнической бригады, отвезти приказ из Центра АСУ о присвоении очередных званий воинам срочной службы: кому ефрейтора, кому младшего сержанта. Мне значилось в этой бумаге присвоение звания сержанта.

Свернул я этот листок бумаги аккуратно в трубочку, не сжимая крепко, так, чтобы не помять, взял в ладонь и отправился на автобусную остановку. Но надо же такому случиться – одновременно дали увольнительную по какой-то каптёрской надобности моему другу Лосинскому.

Без труда уговорил он меня сначала заехать в кафе «Чайка», что на Верхне-Волжской набережной парило прямо над волжским откосом. Там выпили по фужеру креплёного марочного вина. Но такая доза моего друга только раззадорила, и на центральной городской площади, в кафе «Олень» напротив кремлёвской стены мы выпили ещё по фужеру. Только после этого разошлись выполнять порученные командирами задания.

По проспекту Гагарина на автобусе благополучно доехал до улицы Медицинской, пошёл по ней в направлении завода «Орбита». При подходе к военной части, чтобы выглядеть аккуратно, привычно поправил ремень на поясе, расправил под ним гимнастёрку. Уже у КПП хватился – в моих руках нет листка бумаги с приказом.

Потерял! Но где мог его уронить?

Поначалу немного запаниковал, но быстро взял себя в руки и начал подробно вспоминать, когда в последний раз держал документ в руках.

Выходя из кафе, проверил – да, со мной. В автобусе, стоя у окна, одной рукой держался за поручень, в другой была свёрнутая трубочкой бумага. Есть. С автобусной остановки переходил на другую сторону проспекта – приказ точно был в руке... Дальше вспомнить не могу – как отрезало. Когда же документ выпал из моей руки.

Пошёл в обратном направлении. Прежним маршрутом вернулся к пешеходному переходу через проспект. Ничего нет!

Улица немногочисленная, прохожие редки. Затеряться бумага нигде не могла. Однако сколь внимательно не осматривал обочины дороги (вдруг ветерком сдуло в сторону), палисадники у домов, проулки, ведущие во дворы – всё безрезультатно.

Приуныл крепко. Вновь, уже раз пятый, прошёл весь путь – нигде не видно ничего похожего на белый лист писчей бумаги. Делать нечего, придётся с покаянием возвращаться в часть.

Первым делом, нужно поправить гимнастёрку, которая несколько выбилась из-под ремня, пока я совершал бессмысленные хождения. Расстёгиваю ремень... и листок приказа падает к моим ногам.

Тут и догадался обо всём.

Расправляя гимнастёрку перед КПП, я взял свёрнутый лист под мышку. Привычно сделав аккуратную складку сзади, застегнул ремень. Со-

скользнувшую несколько вниз и оказавшуюся за спиной бумагу прижал ремнём к себе. Вот и потерял её из вида.

Был бы совершенно трезв, возможно, подобного и не случилось.

Груз тревоги свалился с моей души. Бумага, разумеется, изрядно помялась. Я её, как мог, разгладил и отдал в штаб бригады. Там получил замечание насчёт вида, в каком доставил приказ вышестоящему командованию. Да что это, по сравнению с возможной потерей и невыполнением поручения – пустяки.

Таким образом, ещё один реальный шанс моего наказания комбатом упущен. Но тот, кто поставил перед собой цель, почти всегда её добивается.

А подполковник славился своей настойчивостью и упорством.

14

Пошли последние полгода моей армейской службы.

Нашей части редко, но выпадало нести караул в главном гарнизоне города – Кремле. Охраняли старинное здание армейского арсенала, штаб танковой дивизии, военную прокуратуру и суд, но главным образом – гарнизонную гауптвахту. Из неё же, забирая из камер, водили под конвоем в зал заседания находящихся под следствием солдатиков.

Посажённых за более мелкие нарушения от трёх до десяти суток возили на разные работы, и не только в воинские части.

Командовал тогда гарнизоном некто полковник Андреев. Несколько раз мне приходило его видеть, и каждый раз он на кого-нибудь орал. В этом, как полагаю, выражалось его стремление к строгости и требовательности к порядку.

Подобные типы людей множество раз описаны в русской литературе. Все они похожи друг на друга, как родные братья. Потому тратить время на характеристику Андреева я не стану. Он в том эпизоде, о котором последует дальше рассказ, лишь повод.

Мне не нравилось ездить в караул в Кремль.

Во-первых – не мог быть строгим к суточникам, которых приходилось сопровождать на работы в город. Я им сочувствовал. Солдаты это понимали, потому не очень-то старались на тех работах, куда их посылали.

Правда, был один эпизод, который совершенно по-особенному запомнился.

Летом повёл несколько солдат в овощное хранилище, находящееся в подвале Красных казарм на набережной Волги. Спустились в тёмное и затхлое помещение, где в особых деревянных отсеках, выкрашенных известью, хранился россыпью картофель. Клубни начали прорастать, их следовало перебирать, обрывать белые упругие ростки, а вовсе испорченные – выбрасывать. Работа грязная, однообразно утомительная, в пыли.

В подвале уже трудилась нанятая для переборки маленькая худенькая старушка. Ей помогала девочка лет десяти – вернее всего правнучка. Тихая, молчаливая, застенчиво улыбающаяся, она старательно пересматривала грязные клубни, откидывая кивком головы за спину две косички, которые непослушно то и дело падали ей на щёки.

Приведённые мною солдатикки трудились кое-как, с ленцой. Старушка за это их незлобиво, даже насмешливо упрекала. А потом с чего-то начала вспоминать свою молодость: как работала у хозяев; как бегала девчонкой смотреть на приехавшего в Нижний Новгород государя Николая II; какие праздники устраивались на Нижегородской ярмарке; как тяжело, голодно жилось народу в годы войн...

Слушал я эти рассказы казавшейся совсем древней старушки, и думалось мне тогда о том, что прошлое, воспринимаемое мною как нечто непостижимо далёкое, на самом деле совсем рядом.

И ещё было невыносимо жалко девочку, которая сидит в тёмном душном подвале с испачканными в сухой земле ручонками, помогая бабушке заработать несколько дополнительных рублий.

Не должен был этого делать, но я оставил подкованных в подвале, а сам с карабином за плечом, поднялся наверх, на свежий воздух, где светило яркое, но утомлённое полуденное солнце, потому что лето клонилось к завершению, шли августовские дни, с неброским предчувствием скорой осени.

От увиденного, от услышанного рассказа, от начавшегося увядания в природе на сердце стало грустно. Словно ощутил будущую свою жизнь, которая непременно и мне принесёт вдоволь потерь, разочарований, несправедливостей, возможную неустроенную старость.

А образ девочки с косичками в подвале, куда попадал слабый дневной свет через затянутое чёрной многолетней паутиной продолговатое оконце у самого потолка, остался со мной на всю дальнейшую жизнь, напоминая необъяснимое чувство тоски и жалости.

Но это я отвлекся от главной темы.

Наступившим утром, до смены нас следующим караулом, направили меня с двумя арестованными солдатиками подметать узкие асфальтовые дорожки в скверике напротив здания комендатуры.

Участок этот на территории Кремля мало посещаемый, дорожками почти никто не пользуется. Солдатики мели плохими редкими березовыми метлами, насаженными на неудобные черенки лениво, не торопясь. Завтрак уже получен и съеден, до обеда далеко.

День обещал быть солнечным, приветливым, в меру прохладным. Начавшая опадать листва нескольких росших клёнов была редка и в уборке не требовала особых усилий. Ещё не высохшие окончательно, не скрючившиеся до сухого шелеста желтоватые разлапистые, с острыми окончаниями листья легко сметались в сторону зелёных газонов, сочно поблескивающих подстриженной травой, недавно облитой из поливальной машины.

Полковника я увидел не сразу. Он стоял ближе к кремлёвской стене и оттуда наблюдал за работой арестантов. Когда Андреев двинулся в нашу сторону, тут я его и заметил. Но не успел и слова произнести, как комендант разразился неудержимым криком, смысл которого сводился к тому, что подметают солдаты асфальт плохо, а сегодня будет проходить пленум обкома партии. Здание областного комитета Коммунистической Партии Советского Союза находилось в Кремле, и двор гауптвахты граничил с внутренним хозяйственным обкомовским двором.

Из крика офицера выходило, что направляясь на заседание этого самого пленума, участники могут издалека увидеть, что в скверике дорожки подметены каким-то не совсем аккуратным образом.

Конвоируемые солдатика от крика не на шутку перепугались. Застыли с метлами в руках, словно окаменели.

Мне, караулившему бедолаг, трудно было поверить, что у участников высокого партийного собрания не будет других забот, как только рассматривать чистоту дальней от главной дороги, узенькой асфальтовой тропинки.

Видимо, мой скептицизм стал понятен и полковнику. Он вскипел. Можно ли орать ещё громче – я не знаю, – но комендант превысил рекорд громкости собственных децибел.

– Объявляю вам сержант семь суток ареста. Доложите своему командованию.

Вот уж этого-то я делать никак не собирался.

Дорожка оказалась быстро подметена «проснувшимися» арестантами. Я увёл их опять в камеру и о распоряжении Андреева прочно забыл. Или сделал вид, что забыл – теперь этого с полной достоверностью не восстановить.

Прошло с того случая недели две-три. О назначенных мне по полному недоразумению, из чистого солдафонского самодурства, семи сутках ареста я и думать перестал. Но вот, принимая утреннее построение, комбат, ни с того, ни с сего вдруг громогласно, так, чтоб услышали и в

дальних рядах, подергивая усами, спрашивает у докладывающего офицера, кивком головы показывая в мою сторону:

– А этот, почему ещё здесь, а не на гауптвахте?..

Я не расслышал, что ответил офицер и развод продолжился.

Или о назначенном мне наказании комендантом города подполковнику только сейчас стало известно; или он сразу знал о нём, но именно сегодня сказались на принятом им решении какие-то личные семейные неурядицы; а возможно комбат выжидал одному ему ведомый удобный случай, который наступил именно в этот день – судить не берусь. Только вскоре подошёл ко мне молоденький лейтенантик, недавно начавший службу в Центре АСУ, и предупредил:

– Берите шинель и готовьтесь – скоро поедem.

Это скоро растянулось на несколько часов – до обеда. В итоге наша разъездная ГАЗ-66 оказалась свободной лишь к полудню. Я привычно залез в кузов под тент, положил на колени не свёрнутую в скатку шинель, лейтенант поместился в кабине и меня повезли на гауптвахту.

В Кремле машина остановилась у хорошо знакомых металлических ворот. Лейтенант поднялся на второй этаж, в комнату дежурного. Его довольно долго не было. Наконец, появившись, он сокрушённо сообщил, что свободных мест в камерах нет, меня не принимают.

Я повеселел. В это время у ворот появился незнакомый прапорщик. Он или тоже кого-то привёз на гауптвахту, или, напротив, забирал из неё, только заметив моё повеселевшее настроение, мудро посоветовала:

– Не радуйся, сержант. Раньше сядешь – раньше выйдешь.

К тому времени лейтенант (молодой, настойчивый, с желанием непременно выполнить порученное командиром задание) вновь ушёл в комендатуру. И всё-таки добился своего. Вернулся он радостный.

– У них скоро начнётся пересменка караула, вот и не хотели дополнительных хлопот, – сообщил он мне, словно самую дорогую весть, – но я всё устроил.

Уж не знаю, какие доводы предъявил лейтенант, возможно, сообщил, что семь суток ареста привезённому объявил сам комендант гарнизона, только ворота гауптвахты открылись, меня провели через знакомый для построения на поверку плац (которым мы с этой целью во время своего дежурства ни разу не пользовались) в полуподвальное помещение. Там проследовали по коридору и завернули в небольшой закуток, куда выходило две тяжёлых металлических двери. Подвели к одной из них, той, что справа, открыли и пропустили вперёд.

Камера оказалась узкой, похожей на пенал. К выкрашенным темно-зелёной ядовитого цвета краской стенам замками пристёгнуты четверо поднятых нар. Стояло напротив двери у противоположной стены две табуретки.

Дверь почти сразу за спиной с громким жёстким звуком закрылась, и мне показалось, что очутился в темноте – столь непривычным оказался тусклый свет. Теперь только отверстие смотрового глазка в двери, просверленное для наблюдения в сплошной металлической мощи, соединяло меня с окружающим свободным миром, где неизменным оставался дневной солнечный свет, такой привычный и почти не замечаемый нами в повседневной жизни. Всё, чем раньше мог свободно пользоваться, осталось за этими безобразно выкрашенными стенами, за непроницаемым металлом захлопнувшейся двери.

Разом помертвело жизненное пространство, скукожилось, приобрело скрытую враждебность.

В полумраке стал осматриваться.

Совсем тускло горела лампочка под высоким потолком над дверью. Она так плотно несколько раз обтянута металлической сеткой, что электрический свет через это кружево почти не пробивался. Нечего было и думать о том, чтобы читать привезённую с собой припрятанную в шинели небольших размеров книжку. Я попробовал это сделать,

усевшись на одну из табуреток, но букв на страницах разглядеть невозможно.

Тогда подумал об отце, что он расстроится, узнав о моём аресте.

(Здесь сразу следует сделать небольшое отступление с забеганием вперёд происходящих событий. Должен признаться, что в своих опасениях ошибся. Узнав всё, отец только рассмеялся: «Что за солдат, если не побывал на гауптвахте!» Тогда я понял, что и он служба долгих четыре года в лётной части на Сахалине, не избежал подобной участи. Не зря же в народе говорится – яблоко от яблони недалеко падает. Иными словами – после того, когда вышел с гауптвахты и явился в увольнение домой, такое лёгкое отношение отца к моему аресту, не оставило тягостного груза в моей памятливой о нём душе.)

Так начался «тюремный» срок.

Плохо помню, как прошёл этот первый одинокий день в сержантской камере, предназначенной для четверых. Видимо, считалось, что сержантов одновременно под арестом не может быть больше – в отличии от рядового состава.

Еда привозилась для всех в больших термосах. Ставили их в солдатской камере – большущей, человек на двадцать-тридцать. Чтобы получить свой первый ужин, мне позволили пройти к ним. Там оказалось шумно. В такой гурьбе намного веселее сидеть, чем одному в тесных четырёх стенах.

Но судьба сжалилась. Перед отбоем дверь в камеру открылась, и ввели старшину второй статьи.

Несколько удивительно было увидеть морячка. Как позже стало известно, он из команды, которая прибыла принимать подводную лодку на нашем заводе Красное Сормово.

Перед отбоем отстегнули нам от стен нары. Постелили мы на них свои шинельки и безмятежно заснули.

На следующее утро в камеру привели ещё одного сержанта краснопогонника внутренних войск из Красных казарм.

После завтрака началось распределение по работам.

Нас троих, видимо, как наиболее надёжных и ответственных – всё-таки сержантский состав – отправили в областное управление КГБ СССР на улицу Воробьёва, которой во времена перестройки было возвращено прежнее старинное название Малой Покровской.

Массивное здание, выкрашенное в бурый кровавый цвет, и по сию пору служит надежащим органам, хотя сотрудники ведомства, призванные служить безопасности страны, легко и беззаботно позволили уничтожить СССР. Но тогда о грядущем никто не подозревал.

Под присмотром местного прапорщика поднялись на второй этаж. Пройдя через приёмную с рядом телефонных аппаратов, вошли в большой кабинет – генеральский, начальника управления. Пока глава грозного ведомства находился в отпуске, в его служебных апартаментах произвели ремонт. Нам надежало собрать с пола бумагу, которой застелен, чтобы не попортился, лаком поблескивающий в открытых проsvетах паркет.

За кабинетом находилась комната отдыха, туалет и ещё какие-то помещения, необходимые для удобной работы большого чина. Всё отдельное и довольно просторное.

Во мне к этому времени уже пробудилось писательское любопытство, и я с особым интересом рассматривал помещения, в которых с тридцатых годов вершились судьбы многих людей – в том числе совершенно невинных. Или, как было известно, не всегда по справедливости, по степени их вины задержанных, измученных и в итоге осуждённых на многие года лагерей и гонений.

Отвлекусь ненадолго от непосредственного сюжета своего повествования.

О прошедших репрессиях я тогда знал не так много, больше слышали о них от разных людей – в том числе и случайных. Но почти никогда они не назывались «сталинскими». Этот расхожий термин стал упорно внедряться позже, во «времена перемен» «демократическими» публицистами. В семидесятые годы, напротив, стал возрождаться новый культ поклонения этому имени. Портреты вождя в форме генералиссимуса выставляли на лобовые стёкла грузовых и легковых автомобилей. При недовольстве работой или поступком кого-либо из чиновников всё чаще и чаще можно было услышать от рассерженных жителей городов и деревень: «Эх, Сталина на вас нет», или «При Сталине за такое бы расстреляли».

В житейском плане, материально, подавляющее большинство граждан страны, в семидесятые годы было обеспечено несравненно лучше, чем в далёкие уже тридцатые. Многие проблемы довоенных лет исчезли. Бесплатно получалось отдельное благоустроенное жильё, стала доступной огромная номенклатура товаров, стабильные и довольно высокие заработки позволяли содержать семью, отдыхать в отпуске, давать детям образование.

Но чем больше, стабильнее и благополучнее становилась жизнь в СССР, тем всё громче и значительнее разрастался народный ропот недовольства властью. Это не теперешние рассуждения. Так я оценивал происходящее в те годы, живя в стране, которая почти позабыла тяготы прошедшей ужасающей войны, а новых серьёзных испытаний ещё не знала.

Несколько позже этот период, когда СССР руководил Л.Н. Брежнев, назову «застоем». Народу хотелось чего-то большего. Не гнобившая и не унижавшая его власть не пользовалась уважением, необходимым авторитетом, а, напротив, раздражала.

Всё больше распространялись в обывательской среде слухи о роскошествах начальства, неудержимо росла зависть к жизни «за рубежом». Там свободно продавались джинсы, сотни сортов колбасы и сыров, автомобили и яхты, всякий мог свободно передвигаться по миру, перелетать через океаны на другие континенты. Из СССР же только по туристическим путёвкам светили поездки в страны «социалистического содружества». Только особым счастливицам выпадала удача увидеть капиталистическую Европу.

Но причём здесь память о И.В. Сталине, возрождение авторитета вождя в народной среде? Разве при Иосифе Виссарионовиче было что-то подобное, о чём мечтали массы в семидесятые годы?

В 1979 году, 21 декабря в газете «Правда» появилась большая подвальная статья «К 100-летию со дня рождения И.В. Сталина». После многих и многих годов публичного забвения, имя прошлого руководителя страны впервые упоминалось в центральной печати. В статье говорилось, что «в борьбе за победу социализма огромную роль сыграли руководящие кадры... В их числе был и И.В. Сталин». Не отмечалось какой-то особой роли верховного главнокомандующего в победе над европейским фашизмом, но подчёркивалось, что после смерти вождя партия «осудила нарушения им законности, грубые злоупотребления властью, все извращения, порождённые культом личности и стала на путь решительной борьбы с его последствиями».

Однако в обществе происходило обратное – ему требовалась авторитетная, сильная власть, которая могла в стране навести желанный «порядок», основанный на социальной справедливости. Вот почему позже пришедший к власти М.С. Горбачёв, а затем и Б.Н. Ельцин, беспрепятственно заговорившие о справедливости и праве, обещавшие много всего иллюзорного и несбыточного были обществом, то есть подавляющим большинством жителей России, вопреки всем существующим реалиям, разумному взгляду на имеющиеся достижения, поддержаны – на свою печаль, на грядущее горе.

В этом отношении, возвращаясь к тексту всё той же статьи, насколько неадекватным, в духе политической агитации, читается в ней такое: «Приписывать отдельной личности... будто его воля определяет ход истории и может изменить её объективные законы, – значит впадать в идеализм, игнорировать созидательное творчество народных масс».

В конце века это «созидательное творчество народных масс» страна в полной мере испытала на собственном опыте, второй раз в течение одного столетия оказавшись разрушенной и до предела ограбленной.

Так что же, предчувствие необходимости возвращения власти, подобно сталинской, было оправдано? Думаю, мы ещё долго не сможем найти однозначного ответа на этот вопрос.

Ясно другое – приход похожей власти разбудит в людях такое... Вся жуть поднимется со дна душ многих. Самое злое, беспощадное и беспринципное по отношению к ближнему проснётся в них. И вновь судьбы невинных станут решаться в этих стенах, в этом удобном просторном кабинете с высокими потолками и вольными окнами, закрытыми не металлическими решётками, а задёрнутыми белоснежными шёлковыми шторами.

Сопровождавший арестантов прапорщик, по въевшейся в натуру служебной привычке, попытался выведать у морячка, из какой он части, как попал в «сухопутный» город и за что загремел на гауптвахту? Однако старшина второй статьи оказался начеку, на провокацию не поддался, секретов Родины не выдал и отшил прапорщика со словами, что все уловки спецслужб ему известны. (Это нам в камере он мог свободно рассказать обо всём.)

К остальным с подобными вопросами страж государственной безопасности не приставал. Возможно, он и был-то в грозном ведомстве на хозяйственных побегушках. Хотел по лёгкой «срубить» информацию, дабы было, что написать в бдительном доносе начальству. Одно слово – прапорщик.

Стоит честно признаться (да уже и упоминал об этом), что служа в армии выпивал спиртное крайне редко. Однако пребывание на гауптвахте, как это не может показаться странным, явилось особым исключением в этом вопросе. И виной тому сержант внутренних войск.

Я уже уточнял, что привели его из Красных казарм. Именно привели, потому что часть граничила с нижней, ближней к Волге стеной Кремля.

На следующий день именно туда солдатик из танковой дивизии, которая заступила в караул по гарнизону, повёл нас на какие-то предполагаемые работы. Но никаких работ не оказалось. Уж не из-за сержанта ли своего нас вытребовали в часть?

Вместо работ сели рядком на бетонный парапет набережной.

Внизу тихо и просторно текла Волга, на которую так приятно было смотреть. Выросший у речных берегов, буквально среди воды, я соскучился по водному разливу, по особому блеску под солнцем речной волны, поднятой прошедшим катером или баржей. Вспоминалось детство, родной дом, ночная рыбалка у Канавинского моста на Стрелке...

За нашими спинами шумели пронесившиеся машины, напоминая о суетливой городской заботливости.

Охранявший нас солдатик тоже задумчиво глядел вдаль, на зеленеющий берег за рекой. Возможно, вспоминал родную деревню. По всему видно – служба его только началась, впереди долгое время разлуки с родными местами.

Однако скоро из Красных казарм подчинённый сержанта принёс несколько бутылок дешёвого вина, банки тушёнки и рыбных консервов. Нежданное самобранство легко объяснилось. Казармы за нашими спинами большей частью пустовали. Военнослужащие внутренних войск выполняли задачи по сопровождению и охране воинских грузов на железнодорожном транспорте. На всё время поездки подразделению выда-

вали питание сухим пайком. На гражданке банки тушёнки в дефиците. В воинских частях её – завались. Служивый оборотистый люд успешно менял продукт на выпивку или продавал за деньги.

И вот сидим под осеннееранним солнышком, неторопливо попиваем вино, вдоволь закусываем. Солдатик, приставленный для охраны, томится. И нарушение дисциплины на лицо, и сделать ничего нельзя. Мы намного больше его отслужили, на наших плечах сержантские погоны. Да и не обижаем его – никуда не собираемся уходить, на берегу хорошо – так чего волноваться.

По уставу незаконное застолье конвоир обязан немедленно пресечь, да ведь кто его послушает? Солдат это понимает и терпеливо ожидает окончания служебного задания.

Показываю сокамерникам рукой в сторону Оки, на красивое старинное здание Главного торгового дома Нижегородской ярмарки, объясняю, в какой из девятиэтажек за этим дворцом жил до армии. Мне твёрдо не верят. Я их понимаю и на своей правоте не настаиваю.

Те, с кем сейчас пью вино, свои дома не видели давно, соскучились по ним. В их представлении – если бы я говорил правду, то никакая сила сейчас не удержала, чтобы не рвануться туда, за реку. Они сами, несомненно, сделали бы именно так. Им не приходит в голову, что я и без того часто езжу домой. Достаточно прослужив, свободно ориентируясь в обстановке, уезжаю из части даже тогда, когда отказано в выдачи увольнительной.

Служить вблизи дома намного легче, чем вдали от него – это хорошо знаю по себе.

Солдатик начал надоедливо проситься обратно в гарнизон – мол, пора возвращаться, обед пропустили, меня накажут. В конце концов, соглашаемся, но понимаем – с вином перестарались. Необходимо протрезветь.

Время идёт, хмель не улетучивается. Заходим в Красные казармы. Знающие люди выносят растительное масло, тушат в нём зажжённый лавровый лист и советуют выпить. Это чтобы не пахло перегаром. Гадость невообразимая – в горло не лезет. В итоге решаем идти, как есть – на удачу.

Проходя мимо недовосстановленной кремлёвской стены, предлагаю всем на неё забраться, пройти вверх по той части крепости, в которой сам ещё никогда не бывал, потому что она не предназначена для туристического осмотра.

По кирпичной кладке, ступенчато обрывающейся на недостроенном участке, забрался на стену, под деревянный двухскатный навес-крышу. Солдатик с автоматом за нами.

– Меня накажут из-за вас. Ну пойдёмте в тюрьму.

Не обращаем на жалобы внимание. Поднимаемся мимо Борисоглебской башни, пока не дошли до Георгиевской башни, не рассмотрели памятник В.П. Чкалову и не упёрлись в металлическую решётку, перекрывающую дальнейший проход у стены арсенала.

– Пойдёмте назад, нужно возвращаться в тюрьму, – умоляет чуть не со слезами охранник, нелепо таскавший всё время на плече тяжёлый для него автомат.

К его радости, мы повернули назад.

(Теперь, когда пишу эти строки, с того дня прошло сорок пять лет. Но на «недостроенном» участке стены за все минувшие десятилетия я так больше и не побывал, хотя на месте пролома недавно восстановлена последняя Зачатьевская башня. Никогда не следует откладывать на потом что-то, если даже обстоятельства не очень благоволят исполнению желания. Ни-ког-да!)

Спустившись со стены и поднявшись по узким бетонным ступенькам к главной пешеходной дороге внутри Кремля, я предложил, в награду нашему конвоиру, пойти друг за другом строем, заложив руки по арестантски за спину. Так и сделали.

Наш конвоир шёл с боку и сиял. Это был его миг славы, торжества на глазах немногочисленных прохожих.

Без осложнений прошли в камеру. Никто нашу нетрезвость не заметил.

Подошёл срок заступления в караул новому подразделению. Это оказались курсанты ракетного училища. Шла пересменка, так что офицерам не до нас, с большой задержкой вернувшихся после работ. А в камере уже поджидал сержант стройбата – черноволосый, чернобровый армянин. Как и все люди, склонные к полноте и с уже округлившимся животиком, он оказался весёлым разговорчивым парнем. Так камера стала полностью укомплектованной.

Кто не слышал мнения – ни за что за решётку не попадают. В высшем смысле слова, может быть, даже в мистическом, это, вернее всего, так. У всякого человека в течение прожитого времени случались поступки, за которое его следовало бы наказать – уж если не тюрьмой, то хотя бы административным увещанием.

Хотя – тут такая тонкая грань, зависящая от совести и души каждого в отдельности. Порог ощущения сотворённой несправедливости у всякого разный. Один старушку, забывшую оплатить копеечную покупку, может довести до смерти, и будет спокоен – действовал по инструкции, а другой, трезво рассудив, на более тяжкое нарушение закроет глаза и спасёт человека для продолжения честной жизни.

Со мной случилось так, что с раннего детства несколько раз бывал наказан властью, которую представляли жестокие по отношению к другим судьбам и, по всей видимости, недалёкие, люди. Возможность возвыситься над другими с чувством превосходства – большое испытание для незрелых и зачерствевших душ. История всех стран знает в этом вопросе множество примеров. А уж так называемые «сталинские репрессии» для нашей страны – совсем близкий опыт.

Я попадал в детскую комнату милиции по невозможным случайностям и недоразумениям. В самом прямом смысле – ни за что. Вернее всего – недобросовестные люди это использовали для показателей в своей работе. Поэтому рано пришлось узнать, что человек может быть подлым, эгоистичен, жесток... Особенно, если наделён хоть какой-то, пусть самой незначительной законной властью. Властью, принадлежащей ему по каким-то инструкциям и другим придуманным кем-то неизвестным бумагам.

Первый раз столкнулся с органами правопорядка совсем мальчишкой. Занимаясь на детской железной дороге, я знал, что в конце состава на вагоне прикрепляется круглый металлический знак в виде красного круга. Идя со знакомым мальчишкой из нашего двора по железнодорожным путям недалеко от Московского вокзала, нашёл на земле такой знак. Он был в грязи. Я его поднял, отёр ладонью и решил отдать кому-то из железнодорожников. Даже спрашивал у машиниста, выглядывающего из окна стоявшего в ожидании одинокого локомотива – не от его ли состава потерял знак? Но тот молча отрицательно покачал головой.

Стоит объяснить, почему вдруг оказался на железнодорожных путях.

Во времена моего детства наши игры почти всюду проходили в пределах железнодорожной дороги – рельсы опоясывали микрорайон Ярмарки и Стрелку плотным кольцом. А ещё, это являлось самым удобным и коротким путём от центра района, площади Революции и Центрального городского универмага к нашим домам. Вдоль шпал натоптана широкая твёрдая дорога. Вот по ней мы, два ничего не подозревающих мальчишки и шли, когда вдруг какой-то мужик схватил меня за шиворот и отвёл в недалеко стоявшее здание линейного отдела милиции.

День накануне праздника 1 мая. Многие готовились к демонстрации, на предприятиях проводились торжественные собрания, сотрудников поздравляли, вручали грамоты и премии. Женщина-милиционер, в ка-

бинете у которой оказался, с недовольным видом сразу начала заполнять на меня какие-то бумаги. Мой рассказ о найденном знаке даже слушать не захотела. Но и её позвали на предпраздничное совещание. Я, веря в справедливость, долго её дожидался, сидя на стуле в коридоре. Наконец вернулась, начала названивать на работу родителям (не утаив, честно сказал, где они работают) – не им самим, а почему-то по каким-то другим телефонам, чтобы все узнали, что сын их нарушитель и находится в детской комнате милиции.

Пришла мама, попробовала несмело меня защитить – она видела, что знак, действительно, в грязи, и говорю правду, объясняя, что не снимал его с вагона, а нашёл на земле. Но строгая милиционерша и ей начала выговаривать.

Так я впервые осознал, что в правду, когда она не удобна и чему-то мешает, люди с готовностью отказываются верить. А значит, человек на всякой службе у закона очень близок к подлости. Уж слишком велик соблазн и никакой ответственности.

Этот ранний урок, помимо своей воли, запомнил на всю жизнь. Исходя из него, многое оценивал в происходящем вокруг и со мной.

Ситуация из детства множество раз повторялась в моей судьбе.

Где-то удавалось схитрить, выкрутиться (в побеждающую силу сказанной правды перестал верить), где-то нет, и тогда перед общешкольным построением директор, как наиболее злостного нарушителя порядка и дисциплины требовала, чтобы вышел и встал лицом перед торжественно молчавшей шеренгой правильных учеников, для общественного порицания, осуждения, дабы другим, ради избежания подобного позора, непременно было. И стоял я опустив глаза перед теми, кто всегда в таблице по окончании учебного года в графе «дисциплина» имел одни пятёрки, но не чувствуя перед ними ни капли стыда или раскаяния. Вместо этого с преувеличенным вниманием рассматривал трещины на плашках старого паркета, покрытого морилакой цвета перезревшей малины, и думал, насколько несправедлива ко мне судьба.

Так что мой комбат оказался далеко не в первых рядах, кто имел своей целью непременно меня перевоспитать. По большому счёту, вся прожитая мною до этого срока жизнь – несправедливо объявленная гауптвахта.

Однако более строго и жестко может судить себя только сам человек. Неправедный поступок, пусть в самом малом и о котором никто из посторонних не знает, будет томить душу, мучить воспоминанием до тех пор, пока память не покинет и разум не затуманится.

Итак, нас в камере стало четверо и жили мы дружно.

На следующее утро ретивые курсанты попробовали устроить с нами занятия по строевой подготовке. Высокомерие будущих офицеров раздражало.

Только в «застенках» стало понятно, как человек, лишённый воли, свободы собственного выбора, начинает сопротивляться всему – от выполнения самых лёгких работ до исполнения невинных приказаний. И ничего с этим поделать нельзя. Неволя многое меняет в психологии.

Вновь забегая на несколько дней вперёд, расскажу, как группу с гауптвахты отвезли в посёлок Дубёнки на край города, в большую инженерную часть. Там «старики» выполняли дембельский аккорд – специальную работу, чтобы первыми после выхода приказа министра обороны о демобилизации убыть домой.

Строили они большие каменные боксы для тяжёлой специальной инженерной военной техники. Трудно это, но торопились с завершением, как могли. Штрафников послали им в помощь, да только просчитались.

Местные трудились, не разгибая спины с утра до ночи – без выходных и отдыха. Прибывшие, с носилками и лопатами в руках, чуть шевелились и выглядели удручающе.

Один из дембелей, по пояс раздетый, загорелый, мускулистый и видно, по характеру настойчивый и ответственный, поглядывал на старания гауптвахтовцев с раздражением. Не выдержав, с горечью в голосе сказал:

– Лучше бы вас совсем не присылали.

Я для примирения ему ответил:

– Ты к дембелю готовишься, а они срок отбывают. День прошёл – сутки вычёркивай.

Вот и курсанты – сколько не бились, ничего из их затей не вышло. Никто команды выполнять не стал. Поначалу несколько человек лениво походили по квадрату плаца, поворачиваясь «налево», «направо», да и бросили. Остальные же и не приступали.

Один сержант стройбата был в восхищении: не влад выстукивая наросенными не по уставу каблуками сапог по асфальту, широко улыбаясь из-под чёрных усов, он приговаривал:

– Вот это да, ни разу не пробовал. Приеду к своим, такое же по утрам проводить стану.

Командовать одному сержанту курсантам быстро наскучило. Прозвучала команда до завтрака вернуться в камеру.

Теперь я знаю – brave и заносчивые курсанты, тогда уже воображавшие себя офицерами, и значит, по сравнению с нами, «белой костью», к 1991 году ставшие опытными командирами, изменяют присяге, которую торжественно перед строем зачитывали и подписывали, и не встанут за страну, которую клялись защищать «не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом».

Сержанта внутренних войск выпустили первым. Ему объявлено меньше всего суток для наказания, и наши вызовы для работы в Красные казармы, а значит, наше безделье и попойки тут же прекратились.

Судьба уберегла меня от пагубной алкогольной привычки, хотя выпивать в нашей мальчишеской среде начинали слишком рано. Потому и сверстники уходили из жизни ужасно – буквально сразу после окончания школы. Алкоголь разрушал здоровье, но ещё больше душу. Отсюда страшные, рационально необъяснимые самоубийства.

Меня Господь хранил.

Наступил последний день пребывания в камере гарнизонной гауптвахты. С обстановкой я и тут свыкся, можно сказать, обжился, потому свободно ходил по коридорам, когда привозили еду для содержащихся под стражей.

Для арестованных на гауптвахте офицеров и прапорщиков была не камера, а большая светлая комната с зарешеченными окнами на улицу, обыкновенными кроватями, а не нарами. Жили они вольно, выходили в город свободно, только ночевать обязаны здесь. Наказание их заключалось больше в моральном смысле, чем непосредственно в ограничении свободы, как это испытывали на себе сержанты и рядовые.

И вот как-то проходя по коридору, я неожиданно столкнулся с тем самым старшим лейтенантом Ивановым из Канавинского военкомата, который так безуспешно пытался сделать из меня дисциплинированно-го и послушного призывника.

Мой срок на гауптвахте завершался, его только начинался.

Мы посмотрели друг на друга, узнали, и, молча, разошлись. Круг замкнулся.

Странная вещь – жизнь. Она всегда всё доводит до логического завершения.

Вскоре за мной приехали из родной части.

Прощаясь я тепло со старшиной второй статьи – ему до окончания десятисуточного срока оставалось три дня, и сержантом стройбата – тот меня уже считал почти братом – эмоциональный южный человек.

Свернув шинель, вышел свободным человеком на солнцем облитую площадку перед зелёными металлическими воротами, на каждой створке из которых ярко горело по большой красной звезде.

Было приятно вернуться в родной клубрик казармы. Жёсткие нары, прыгаться, надоели. Но служба столь стремительно без всяких видимых изменений пошла дальше, что пребывание в застенках память словно удалила из сознания – будто этого и не было со мной. Да и пришлось скоро привычно заступить дежурным по роте.

В этот день в ленинской комнате Центра АСУ проходило годовое собрание. Подводили итоги, зачитывали приказы о награждениях и присвоениях очередных званий, повышении класса по специальности, поощрениях. Особо отличившимся объявляли отпуск домой или вручали грамоты.

Вёл собрание, как и положено, комбат. В президиуме с ним замполит и начальник штаба. Тут же многие офицеры и весь личный состав казармы. Я на улице. Как дежурный должен быть на посту. Но слышу, несколько голосов кричат, зовут меня раз, два...

Вхожу в ленинскую комнату. Вижу в какие то веки улыбающегося комбата.

– Не всё вас ругать, – произносит он, и протягивает грамоту с подписями и печатью – за безупречное выполнение воинского долга.

– Служу Советскому Союзу, – отвечаю, как положено по уставу.

Ленинская комната взрывается смехом. Поворачиваюсь к президиуму – улыбаются, смеются и комбат с замполитом.

Чего я смешного сказал – не понимаю.

Так мною была получена вторая грамота в жизни – после первой, за бег на шестьдесят метров в пионерском лагере.

Вот и закончилось моё возвращение в прошлое. Остаётся лишь добавить, что время многое безжалостно изменило. Но кто-то и его будет вспоминать как доброе и важное в своей жизни.

Я же могу предупредить, что не стоит искать тех воинских частей, о которых я упоминал в своём повествовании – их больше нет. Ни одной! Ни на Московском шоссе, ни на улицах Медицинской и Ижорской, ни в Дубёнках, ни в Красных казармах, ни Центра АСУ напротив областной больницы. Впрочем, и гарнизонной гауптвахты в Кремле тоже больше нет.

Теперь я иногда бываю в тех прежних местах. Прохожу знакомыми дорогами с единственной мыслью – как же молод был тогда. И совершенно не представлял, что ждёт меня впереди.

А ждало многое...

*Июль – Август 2022 г.
д. Кунавино*

ШЕЛЕХОВ

Рассказ

1

В редакционный кабинет довольно смело, без всякого смущения или неловкости, вошёл худощавый мужчина среднего роста, на вид которому было что-то около семидесяти, и уж очень зорко, оценивающе посмотрел на меня.

Я сидел за рабочим столом, вычитывал материалы для очередного номера журнала, и потому не сразу ответил на приветствие незнакомца – в сознании ещё редактировал сложную фразу из статьи нашего постоянного автора, которую необходимо было исправить, укоротить, придать ей более чёткую форму, и тем самым сделать более понятную для читателей. По теме статья важная, потому, несмотря на её некоторую запутанность и словесную тяжеловесность мне не хотелось от неё отказываться.

Но краем глаза наблюдал, как нежданный гость внимательно рассомтрел наградные грамоты в рамочках, стоявшие рядком на невысоком книжном шкафу, там же скульптурку просветительницы Грузии святой Нины, подаренную моим товарищем – замечательным скульптором. Затем посетитель перевёл взгляд на висевшие по стенам и стоявшие у оконного подоконника картины.

Закончив исправлять строчку, я поднял взгляд на незнакомца. Какое-то время мы молча рассматривали друг друга.

Худоба мужчины была здорова и говорила об энергичности его характера. Он не был болезненно худ, а лучше сказать, поджар как хорошая опытная охотничья собака. Да и зоркий взгляд, неназойливая и не выходящая за рамки приличия в чужом кабинете, а как бы некая достойная самостоятельность, выдавали в нём человека бывалого и знающего себе цену.

То, как он по приглашению сел на стул у моего письменного стола, а через минуту-две вновь порывисто и беспокойно встал, говорило о его резкости в принятии решений, но без суеты. Такой тип людей обычно точно знает, чего хочет добиться. И цель им не кажется недостижимой.

– Я принёс показать свои рассказы, – сказал посетитель, протягивая через стол рукопись, свёрстанную в виде книжки.

Честно говоря, бесцеремонность большинства нынешних самодельных литераторов меня порядком раздражает. Хлопнул на стол потрёпанную, пожелтевшую, ещё в чернильных разводах, старую папку для бумаг с засаленными до черноты, завязанными бантиком тесёмками, в которой неаккуратно, небрежно напечатаны на таких же старых листках стихи или рассказы, и заявляют: «Прочитайте и выберите что-нибудь для публикации».

Иными словами, я должен потратить несколько дней для чтения их текстов, вместо того, чтобы заниматься своими делами. Но стоит им сказать об этом, как немедленно следует ответ: «Я сам вам сейчас читаю. Слушайте». И начинается пытка.

Заметив, что слушая стихи, я продолжаю выполнять свою работу, автор возмущается, и требует полного сосредоточения внимания только на его творении. Именно поэтому с плохо скрываемым раздражением, я стал отказываться от подобных предложений.

– Принесите лучше один-два рассказа из тех, что для вас самые важные, которыми вы хотите донести до читателей какую-то главную мысль, и только эту рукопись предложите на рассмотрение. Читать целую книгу случайных ваших текстов у меня, честное слово, – я прижал ладонь к груди, – не обижайтесь – нет времени. А это всё заберите назад.

– Вы всё-таки почитайте, – настаивал посетитель. – Увидите, вам понравится.

И подобное поведение до самой последней стадии нервного утомления мне знакомо. Но на в этот раз что-то было в человеке неуловимо располагающее: естественность разговора, без напористого нахальства в оценке собственного творения, но и не стеснительность, а как бы доверительность.

Я вновь взял в руки, положенные было на край стола, сброшюрованные листки (сам автор до них так и не дотронулся, не сделал движения, чтобы забрать назад), раскрыл наугад ближе к середине.

– Давно написаны эти рассказы? Вижу, тут всё охотничьи байки.

– Не байки, а то, что происходило на самом деле, – незаносчиво возразил мужчина.

– Вы профессиональный охотник?

Меня начали заинтересовывать короткие рассказы, которые сейчас читал. Дело в том, что с детства во мне жила так и не воплотившаяся в полной мере мечта стать настоящим охотником. С чего поселилось в душе чисто городского мальчишки такое хотение (потому что я одно-

временно каким-то иным чувством понимал или лучше сказать, догадывался – охотником мне всё-таки стать не суждено) – рационально объяснить невозможно.

Насколько слышал от родителей о своих предках по материнской и отцовской линиях – в нашем роду настоящих добытчиков дичи никогда не было. Может, кто и баловался с ружьишкой, бродя по тайге или редким лесам средней полосы России, но это с полной достоверностью мне неизвестно.

Родившись в Сибири, где тайга плотно окружала посёлок, и редко в каком доме не водилось ружья, я, тем не менее, никогда не видел оружия в нашей семье.

Из Сибири на родину отца перебрались, когда мне исполнилось лет пять, или что-то около того. Большой город, с иными мальчишескими впечатлениями и заботами, открытиями и переживаниями, полностью вытравил из сознания неясную мечту. Хотя и среди наших соседей охотники-любители водились: то один лису подстреленную привезёт; то другой маленького медвежонка, отбитого у матери, притащит; то на недалёком от пятиэтажных домов озере загрохочут ружейные выстрелы по прилетевшим куликам... Однако это случайное узнавание, уже отдалённое от охотничьей страсти, воображение не тревожило.

Всё в мечтаниях повторилось лишь тогда, когда вернулся в летние месяцы школьных каникул на родину. И не только в мечтаниях, а, что называется, удалось перечувствовать вживую.

Дядьки, уезжая в тайгу валить лес или шишковать, на гари, где буйно цвёл кипрей, проверять пасеку, или на рыбалку к неширокой и неглубокой речушке, со всем прочим необходимым, всегда брали с собой ружья. Мы, малолетки, увязывались с ними и при случае непременно спрашивали у взрослых позволения сделать несколько выстрелов. Дядьки понимали, что это баловство, никчемный расход патронов, но, в итоге, смирялись, и только строго-настроено предупреждали, чтобы мы не покалечили друг друга.

Вот тогда впервые я и почувствовал, что такое волнение перед нажатием на спусковой крючок в ожидании выстрела; как приклад, тесно прижатый к плечу тупо, на мгновение, отталкивающе ударяет в него; как резко пахнут сгоревшим порохом вынутые из стволов гильзы (в моём детстве они были латунными и заряжались заново после использования), которые перед этим каждый охотник для выстрела готовил самостоятельно: вставлял капсюль, засыпая порох, отмеривал дробь, забивая пыжи.

Снаряжённый патрон непередаваемо приятно тяжелеет на ладони. После выстрела вынутую гильзу убирали в патронташ влево, ближе к краю ряда кожаных гнёзд, чтобы не мешала, а в казённую часть ружья засылался новый патрон, прохладный и гладкий.

Пройдёт время, я куплю своё ружьё, буду ездить с друзьями на заволжские карьеры и озёра, но в подлинном смысле этого слова охотником так и не стану. Неспроста ещё в детстве некое таинственное предчувствие меня об этом предупреждало, словно ему была известна вся моя последующая жизнь – с её сроками и предназначениями.

Мечта и её воплощение в жизни – две большие разницы, и зачастую первое намного притягательнее и радостнее сердцу, чем второе.

Я наскоро прочитал один из небольших рассказов в принесённой рукописи. Он был написан не опытной рукой, без особенной мысли и задачи, повествовал об удачной зимней охоте с собакой на зайца.

Подняв взгляд от текста, я сначала, думая, что бы сказать автору, посмотрел на любимую мной картину с изображением старого заснеженного захудалого нижегородского дворика – художник изобразил то, что увидел, выйдя из полуподвала своей мастерской, и только после этого обратился к посетителю.

У того на лице застыло выражение торжества, которое так и говорило: «Ну что – понравилось». Казалось, он даже не ожидал моей оценки, а заранее был уверен в своей правоте, не сомневался в ней.

– Ваша зарисовка может превратиться в рассказ, – начал говорить я, – если только вы её наполните более значимым содержанием, чем то, что пока в ней есть. Тексту не хватает художественности, более крупной задачи, которую должен ставить перед собой писатель.

Услышанное автора не смутило.

– О чём хотел – о том и рассказал. Не хватает художественности – это как, описания природы, всяких придуманных красотостей?

И такая примитивная оценка художественности в литературе для меня была не в новинку. Понимая бесполезность дальнейших рассуждений, я замолчал. Однако посетитель не собирался освободить кабинет.

Он начал рассказывать о рыбалке, о больших сазанах, которых добывал в озёрах южных краёв, в которых жил раньше, до переезда в наш город. Теперь же ловит большущих щук на волжских протоках, что образовались среди лесов после затопления чаши Чебоксарского водохранилища. И вдруг неожиданно добавил:

– Обязательно нужно будет вас туда свозить. Вот сезон для рыбалки начнётся – и поедem.

Но кроме заслуг удачливого охотника и рыбака, есть у него и ещё одна – он рефлексотерапевт (тут же вручил маленькую самодельную визитную карточку, отпечатанную на принтере), вылечивает всех, кто к нему обращается.

– Вы где-то учились, получали медицинское образование?

– Зачем? Всё освоил сам!

После этого утверждения стало мне совсем грустно.

До этого яркий зимний день за большим казённым зарешёченным окном кабинета теперь начал потухать, бледнеть. Опускались вечерние морозные сумерки.

«Вскоре зажгутся уличные фонари», – утомлённо подумал я про себя.

Встав из-за стола, прошёл к двери, включил свет. Продолговатые лампы, мигая и потрескивая, заполнили комнату искусственным голубоватым светом.

Я не скажу, что незваный гость меня уж очень утомил. Он не раздражал, а, напротив, вызывал симпатию, располагал к себе увлечённостью в то, о чём рассказывал, но меня ждала своя работа и потому нужно было прощаться.

Взглянув на оставленную мне визитную карточку, я прочитал фамилию автора самодельной книжки – Шелехов – и, обращаясь к нему уже по имени и отчеству, предложил:

– Хорошо, Георгий Георгиевич, я дополнительно посмотрю вашу рукопись, возможно, что-то отберу для журнала. Зайдите через неделю.

Мы расстались.

В какую-то поездку на рыбалку с незнакомым человеком я, конечно же, не поверил ни на секунду и о прозвучавшем предложении тут же забыл.

2

Ровно через неделю Шелехов вновь появился у меня в кабинете. Зашёл как к давнему и близкому знакомому – весело протянул руку для пожатия, и сел на знакомый ему стул, сдвинув его для собственного удобства ближе к окну.

Надо сказать, я ответственно выполнил данное Георгию Георгиевичу обещание, довольно подробно ознакомился с оставленными текстами и кое что, действительно, отобрал для публикации. Немного – рассказа два-три, да и те, с технической точки зрения, требовали дополнительного редактирования. Но в них было радостное, настоящее ощущение жизни, отличное знание охотничьего дела.

Шелехов остался доволен моим решением. Распечатки отмеченных мною рассказов вынул из общей подборки, положил на стол, оставляя мне, а остальное забрал с собой.

Так мы расстались.

Как я думал – навсегда.

Прошла зима. Затем весна. О случайном авторе журнала я почти забыл. Но неожиданно Шелехов сам дал о себе знать. Он всё так же деловито вошёл в кабинет и с ходу известил – с завтрашнего дня рыбалка разрешена без ограничений. И предложил:

– Едем!

Я, было, начал отнекиваться, ссылаясь на то, что у меня и удочек-то нет. А те, что остались в деревне, так они простенькие, не для серьёзной рыбалки. Да и дела всякие подпирают сроком своего выполнения.

Но Шелехов был непреклонен.

– Удочки у меня есть, дела подождут.

В итоге договорились, что завтра в первой половине дня Георгий за мной заедет. Так и случилось.

То, что мой знакомый – человек в рыбной ловле не случайный, я убедился, увидев, как он приготовился к предстоящей поездке.

В «Ниву», припарковавшуюся возле моего подъезда, оказалось аккуратно уложено всё, что только может понадобиться во время пребывания в течение нескольких дней вдали от жилья: две небольшие палатки, два надувных матраца, две резиновые лодки, газовая плита с небольшими газовыми баллонами, термос, сумка с провизией, всевозможные удочки, сапоги (в том числе и для меня) и на всякий случай сменная одежда, прикормка для рыбы и насадка для её ловли, дополнительные рыболовные снасти... вплоть до запасной бейсболки и рабочих перчаток.

Дорога, если смотреть из города, то за Волгой, по левому её берегу, всё больше проложена среди лесов. Радовался глаз сочной зелени листвы и хвои – в отличие от городских улиц яркой, не запылённой. Редко появлялись встречные машины, и тогда ещё больше ощущалась безлюдность преодолеваемого нами пути.

Остался в стороне древний Макарьевский монастырь, что тяжёлыми белыми каменными стенами отражается в водах Волги, когда они спокойны и не вздыблены непогодным ветром.

Не доезжая до села Каменка, свернули на наезженную лесную дорогу. По ней, то опускаясь в овраги, то поднимаясь из них по глубоким ненадёжным колеям, опасаясь того и гляди посадить машину на днище, направились в сторону берега.

Иными словами, путь оказался не близким. Однако то место, куда я сам не ожидая того попал, стоило затраченного времени.

Тишина. Такое ощущение, что прибыли на необитаемую землю. Дорога закончилась на небольшой поляне у самой воды. Дальше только пологий спуск и заросшая кувшинками гладь озера.

В первую очередь достаём из машины то, что необходимо для рыбалки. Накачиваем ножными насосами лодки, и спускаем их на воду. Георгий коротко объясняет, где и как лучше ловить плотву. Я отталкиваюсь от берега и маленькими вёселками тихонечко гребу в сторону зарослей кувшинки. Их большие плоские листья колышутся на воде, матово отблескивая солнечным светом, когда я вторгаюсь в их колонию.

Сквозь чистейшую воду вижу, как со дна поднимаются вверх пряди водорослей, изумрудно насыщенные влагой и чем-то похожие на маленькие лесные ёлочки. Возвышаются над тёмным зеркалом воды зелёные острые клинки осоки. Между этой подводной растительностью, причудливой по форме, свободно и не пугливо плавают стайки плотвичек.

По настоящему, самостоятельно в резиновой лодке я плыву в первый раз. Не сразу всё получается так, как надо. Но довольно скоро приориентируюсь и к правильному управлению движением, и к аккуратному

протискиванию в неширокие протоки между разросшимися островками водной зелени на свободное пространство.

Солнце просвечивает воду до дна, и я отчётливо вижу ранее сокрытый от моих глаз мир, который своей необычностью завораживающе притягателен. Я гляжу в него почти влюбленно – так в воде всё красиво, гармонично.

Но хочется, наконец, и начать ловить рыбу.

Насаживаю на крючок купленного по дороге в магазине для рыбаков мотыля, забрасываю в свободное водное окно неподалёку от лодки, и тут же поплавок начинает тревожно шевелиться, притапливаться. Первая подсечка, и серебристо посвёркивая чешуёй, плотвичка трепещется на поднятой леске.

Клёв был отменный.

Хоть азарт и захватил меня, но нет-нет, да я оглядывался по сторонам, отыскивая взглядом лодку Георгия. Он ловил в другой стороне озера.

Но вот, в очередной раз оторвав взгляд от поплавок, второй лодки на озере я не обнаружил. Куда она могла подеваться? Не сразу, но всё-таки это начало меня беспокоить. Уж слишком неожиданно всё произошло.

Шло время, мой спутник так и не появлялся.

Солнце всё ниже начало опускаться к земле, к верхушкам леса на противоположном берегу озера. Моё ведёрко чуть не доверху было наполнено пойманной рыбой. Клёв заметно снизился, нужно было возвращаться к поляне, а Георгий так и не показывался на своей лодке. Тут в пору было теряться в догадках: куда мой спутник мог деться? В голову начали приходиться самые нерадостные мысли – вдруг я не заметил, как он утонул. Но лодка-то утонуть не могла!

Озеро было замкнуто берегами, из него не вытекало ни одного ручья, ни одна протока не соединяла его с другим водоёмом.

В итоге беспокойство заставило прекратить ловить рыбу и вернуться на берег.

Вытащив на сушу лодку, вынув из неё ведёрко с пойманной рыбой и перевернув вверх дном для просушки, я стал ждать возвращения Георгия. Костра разводив не решился: областными властями из-за сложной противопожарной обстановки выпущено строгое предупреждение на этот счёт. И Шелехов накануне поездки строго предупредил, что с открытым огнём в лесу баловаться не станем. Я не решался нарушить этого предупреждения, да и спичек со мной не было. Для их поиска нужно залезть в сумку Георгия, а это уж точно не входило в мои планы.

Георгий на водной озёрной глади появился точно так же внезапно, как и исчез.

Возвращаясь из обхода близкого берега, я вдруг увидел, как утомлённо он гребёт небольшими фанерными лопатками, похожими на ракетки для игры в настольный теннис, пересекая озеро.

Как же я ему обрадовался!

Не вытерпев, я, подойдя к краю воды, прокричал двигавшемуся к нашему берегу Шелехову:

– Ты куда пропал?

Ответа не последовало.

Подгребая к мелководью, Георгий вступил в воду, втащил лодку на берег (у него она была побольше, чем моя, оттого потяжелее), сделал несколько приседаний, разминая затёкшие спину и ноги, покрутил руками.

– Я думал, мы вместе ловить будем.

– Зачем? Я понаблюдал за тобой, всё нормально. Наловил живцов и отправился на Медвежье озеро ставить снасти на щук. Завтра поплывём их проверять.

Немного отдохнув, попив горячего чая из термоса, Георгий быстро собрал газовую плиту, подсоединил её к газовому баллончику, плеснул на

сковородку растительного масла и поставил её на огонь. В наступивших сумерках огонь вырывался из горелки тёмно-голубыми струйками, насыщено оранжевыми по цвету на острие у своего окончания под сковородой, расплзаясь под ней сплошным жарким пламенем.

Плита тихонько гудела, брошенная на сковородку рыба потрескивала в раскалённом масле, покрывалась золотистой корочкой.

Шелехов ловко переворачивал плотвичек на сковородке. Рыба быстро жарилась, и тогда Георгий перебрасывал её в большое блюдо, где стремительно росла горка из золотистых тушек плотвы.

Я был голоден, но нарезанную колбасу с сыром и ветчиной есть не хотелось. Дождался приготовленной рыбы. Не удержавшись, взял снизу ту, что должна была уже подостыть, и, перебрасывая с одних пальцев к другим начал обглаживать вкуснейший сочный хребёт.

Вкус у плотвы изумительный, нежный, такой, которым не сразу насытишься.

Жир и масло стекали жаркими струйками по пальцам. Я, осторожно поднеся ко рту, дул на вновь взятую с блюда рыбку, снимал с неё зубами, боясь обжечь губы, белое сочное мясо, одновременно не переставая хвалить кулинарные способности Шелехова.

Утолив голод, принялись устанавливать палатки. Покончив и с этим занятием, Георгий категорично произнёс:

– Всё, я спать. Устал.

Без особых прощаний, он залез в свою палатку, застегнул за собой молнию, повозился немного, убивая случайно залетевшего комара, и за-тих.

Я остался один.

Июньская ночь долго не приходит на землю. Вроде бы и время позднее, а полной темноты нет.

Давно скрылся с неба потускневший до цвета расплавленной меди диск солнца, а в пространстве всё разлит неведомо откуда льющийся легкий сероватый сумрак – словно некий след, остатки от, только что, завершившегося летнего теплого дня.

В такую пору в одиночестве, среди незнакомого леса, думается о чём угодно, только не о сне.

Испуганно вскрикнула в вышинах берёз неведомая ночная птица. Ей ответила другая. Непонятно отчего треснул сук в молодом сосняке. И невозможно осознать – близко это, или далеко на самом деле это случилось. А возможно и вовсе только показалось.

Одиночество – жутковатое, но такое необходимое для души человека состояние, в котором многое иначе воспринимается, оценивается, видится. В одно мгновение мир становится огромным, разнообразным и непонятным. И ощущение собственной малости в нём, незначительности так безжалостно обрушивается на сознание, что невольно пугаешься открывшейся бездны и стараешься это чувство как можно быстрее прогнать от себя. Пугаешься той бесконечной свободы, которая с рождения уготована для тебя. Потому что когда ты будешь к ней в итоге готов – никому не ведомо, и в первую очередь самому тебе.

Вокруг всё чужое. Невольно тянет новое пространство осмыслить, понять, почему вдруг тут оказался, для чего, есть ли в этом особый смысл, закономерность, или всем распорядился его величество случай.

По сути, мы с Шелеховым совершенно чужие, близко знакомые люди. Ну разве что самую малость, поверхностно узнали друг друга. А он привёз меня сюда как друга, позаботился об удобном обустройстве, приготовив всё необходимое для жизни в лесу и рыбалке на озере, вкусно накормил. Сделал всё это Георгий просто и естественно, как само собой разумеющееся для близкого человека.

И мне с ним так же просто и хорошо – как с давним товарищем. Ещё по дороге, в машине договорились обращаться между собой по именам и на «ты».

В решениях всякого вопроса, Шелехов несуетлив, а спокойно сосредоточен, словно заранее знает все ответы. Подобным образом поступает всякий по-настоящему уверенный в себе человек, не зависимый от чужой прихоти.

Так и не дождавшись наступления полной темноты, я тоже закрылся в палатке, включил заранее приготовленный для меня у изголовья ручной фонарик и принялся за чтение книги. Делать это было не совсем удобно. Палатка мала – её пространства не хватало, чтобы полностью, свободно вытянуть ноги. Лёжа на спине, положив книгу на согнутые колени, я освещал её страницы лучом фонарика.

Содержание повести рассказывало о жизни в предреволюционном заснеженном провинциальном городке на Волге, о зимних забавах катания на санях с большого пологого речного склона на лёд Волги. Чужие восторженные голоса, смех, испуганные весёлые крики словно доносились до меня из неведомой дали навсегда ушедшей жизни, из прошлого, где быт, окружавший тех людей, был совершенно иным, на наш никак не похожим. Но в какой-то миг это разделявшее меня с неведомым прошлым, столетнее временное пространство, исчезало.

Закрывая глаза, я слышал, что как и прежде во все времена неровно шумят вершины деревьев над палаткой – их беспокоит поднявшийся верховой ночной ветер. Наверняка и тогда, столетие назад, он точно так же гулял вдоль волжских берегов, и кто-то в тоске и одиночестве в ночном лесу прислушивался с тревогой к его порывам.

Выключив фонарик, я продолжал лежать с открытыми глазами, ничего не различая в окружившей меня плотной темноте.

Визу у земли ветра совсем не ощущалось, а далеко сверху даже лёгкое его дунение отвечало шорохом потревоженной листвы, похрустыванием сухих веток от прикосновения друг к другу, поскрипыванием раскачиваемых стволов.

«Вот оттого-то и должен ощущать себя маленькой песчинкой всякий человек, забредший в одиночестве в этот удалённый от жилья уголок» – напоследок, перед тем, как заснуть, успел подумать я.

Хотя ведь не был одинок. В нескольких метрах сбоку, в другой палатке мирно спал человек, который открыл для меня осознание своей малости и одиночества.

3

На следующий день встали рано.

Ночная прохлада ещё не отступила и лодки, лежащие на берегу у воды, заметно помягчели округлыми боками. Солнце не поднялось над вершинами деревьев, потому небольшая поляна оставалась в сумраке. Было тихо. Ни один листик на ветках ольхи, возле которой стоял наш раскладной столик, не шевелился.

Пили обжигающе горячий кофе, завтракали нарезанной крупными ломтями ветчиной с хлебом.

Подкачав лодки, столкнули их на воду. Я, было, взялся за удочки, но Георгий остановил.

– Не надо, сейчас поплывём на Медвежье проверять перемёты. Удочки не понадобятся... Знаешь, почему называю озеро так? – Шелехов зашёл в воду, и громко чавкая сапогами в прибрежной болотистой тине, стал проталкивать свою лодку на чистое водное пространство. – Обследуя окрестности, как-то заплыл в те края. Увидел, что вдалеке у кустов кто-то барахтается. Вглядываюсь, и никак не пойму, кто же это может быть. Думал, собака одичавшая из далёкой деревни прибежала. А когда зверь вышел на свободный берег, я и обомлел – медведь! Здоровый! Тогда не на шутку перепугался – вдруг в мою сторону пойдёт. Спрятаться негде. Но косолапый головой помотал и скрылся в лесу.

– Что за озёра, о которых ты рассказываешь? Старые?

– По-настоящему, это никаким образом не озёра. Всему виной Чебоксарское водохранилище. Здесь весь лес был вырублен. Отметка воды должна была подняться значительно выше, чем существует теперь. Но полностью, как планировали, поднимать уровень воды в водохранилище не стали.

Георгий осторожно уселся на короткую деревянную лавочку в лодке, отгрёб от берега, освобождая пространство для меня. Я поспешил спустить свою лодку на взбаламученную от поднятого ила воду, стараясь поменьше плескаться, закинул левую ногу за борт, придержал ей лодку и тоже сел на скамеечку. Мы направились к начавшему освещаться поднимающимся солнцем лесу на другой стороне озера.

– Одни считают, что это произошло от общественного возмущения грядами экологическими проблемами, – продолжил свой рассказ Шелехов, двигаясь по стеклянню ровной воде немного впереди и левее меня, – другие, что денег в государстве не хватило. В итоге эти участки за Волгой оказались брошенными. Речная вода по овражкам и низинкам разлилась. Кое-где и весенний паводок своё добавил. Возвышенности остались среди неглубокой воды островками, постепенно заросли лесом. Ты думаешь, он всегда такой был? Нет. Я начал ездить – тут ещё всё голо оставалось.

Не спеша, но Георгий всё дальше и дальше отдалялся от меня. Он грёб уже заметно впереди, моей сноровки в этом деле явно не хватало.

Вновь причалили к суше, взяв в руки верёвки, привязанные к носу лодок, потащили за них наши судёнышки через лес по протоптанной рыбаками тропинке. Теперь я понял, куда вчера так неожиданно исчез Шелехов. Лесок жидковатый, всё больше кустарник. Под ногами пружинисто утопал торф, стоило лишь ненадолго остановиться для отдыха.

Но вот вышел к другому озеру, показавшемуся мне огромным. Георгий успел отплыть от берега на значительное расстояние, не дожидаясь моего появления. Боясь совсем отстать от своего спутника, поспешил за ним следом. Озеро с правой стороны переходило в болотину, из которой торчали пеньки погибших деревьев. В левой стороне не было видно его окончания.

Чтобы я сумел его догнать, Георгий притормозил. Он спокойно сидел в лодке на безлюдной огромной водной глади, смотрел вверх – над ним пролетали низко две цапли, направляющиеся куда-то за лес, росший на противоположной стороне. Тень от деревьев затемнила воду у возвышенного обрывистого берега. Это был настоящий берёзовый и ольховый лес с густыми кронами, которые не просвечивало раннее солнце.

На поверхности воды заметил несколько горбатых спин зараженных солитёром лещей. Это неистребимая болезнь всех волжских водохранилищ.

Случалось совершать путешествия на теплоходах вверх по Волге, и был неприятно удивлён, сколько больной рыбы плавало на поверхности.

Я подумал, что именно это, новое для меня озеро, Георгий называет Медвежьим. К тому же переправившись поближе к противоположному берегу, он повернул направо, к более мелкой его части, заросшей водорослями и листьями кувшинок. Но ошибся.

Георгий продолжал править свою лодку куда-то в самый угол озера, и там скрылся от моего взора. Теряясь в догадках, куда Шелехов мог спрятаться, пришлось последовать за ним. И только проплыв по довольно узкой полоске свободной воды ещё несколько десятков метров, я увидел, что из озера выходит что-то вроде канала или узкой речки.

В другое время это место никогда бы самостоятельно не нашёл. Узкая речка служила естественным перетоком воды из недостроенного водохранилища в озёра – и обратно. Спина Георгия маячила впереди, отчасти скрываема поваленными поперёк протоки деревьями. Под ними приходилось не без труда пробиваться вперёд, наклоняясь так, что почти ложился на борта лодки, опасаясь неловким движением её опроки-

нута. Мой спутник значительно ниже ростом, эти препятствия для него не представляли особых трудностей.

Продвигаясь по природному каналу, невозможно было не восхититься открывшимся миром, совершенно иным, чем на оставленной поляне.

Деревья нависали над водой, с трудом сквозь густые ветки пропуская утренний солнечный свет. Сквозь плотную листву, солнце лишь посвёркивало бликами, словно яркими зеркальными осколками. На воде властвовал влажный и вязкий сумрак, наполненный волглым запахом сырого леса, многолетней прелой листвы, терпким и сладковатым – прибрежных цветов, что поднимались над водой распустившимися красно-сиреневыми зонтиками.

Гулко хлопнув о поверхность хвостом, скрылся под водой бобёр. Скользкие глинистые дорожки зверьков виднелись на обрывистом склоне протоки.

На вод впереди вновь открылась широкая водная гладь. Опять озеро!

Георгий влывает в него и берёт вправо. Тут есть небольшой пролив в соседнее озеро, отделённое высокой бровкой. Далее за мыском уж и не понятно – то ли это затопленный и уже погибший лес (стволы подгнили и упали, а пни коряво и пугающе, разных размеров и форм чёрно возвышаются над водой), то ли вековечное болото.

Шелехов направился туда.

Как оказалось, между этими пнями-чудовищами он и протянул лески, с которых свивали поводки с крючками, на которых насажены живцами мелкие плотвички.

Наконец-то наши лодки сблизилась.

– Сейчас немного отдохнём и станем проверять.

Я вижу, что Георгий устал не меньше моего – путь преодолен непросто и долгий. Солнце взошло довольно высоко. Лёгкий ветерок гуляет мелкой рябью по поверхности воды, искрит солнечными блёстками. Тихо и покойно – словно и нет другой жизни в обозримом пространстве. Ни одного постороннего звука, говорящего о находящемся поблизости жильё, не доносится до нашего слуха.

Спрашиваю Шелехова, далеко ли отсюда до ближайшей деревни или посёлка.

– Ой, не близко. По дороге разве не заметил... Нет, пока ехали по асфальту, никакого обустроенного жилья не попадалось по пути. Да и как тут жить среди воды и болот, весенних разливов и внезапных торфяных пожаров.

Выходит, только добычливые люди побили в эти пространства тропу, заплывают и забредают в эти леса, сотворённые не столько самой природой, сколько нерадивым хозяйствованием человека. Природа эти ошибки исправляет.

Приступили к проверке снастей. Улов оказался небогатым – четыре небольших щучки и невиданный ранее мною размеров окунь.

Щучки хоть и не велики, но каждую достать из воды оказалось непросто. Сильная рыба отчаянно боролась, старалась не поддаться человеку, который тянул её наверх. Она уходила под дно лодки, билась о мягкое податливое резиновое днище, но я всё-таки перекинул щуку за борт, поприжал слегка ногой, обутой в сапог, и рыба сдалась.

В этот же миг и азарт добытчика во мне угас.

Георгий, не спеша, основательно передвигался от одного пенька к другому. Проверив одну снасть – переходил к следующей. Снимал рыбу, обновлял живцов, поправлял запутавшиеся поводки.

Оставив лодку на волю легкому ветерку, который осторожно двигал её к центру озера, я лег спиной на сиденье, положил голову на тёплую округлость нагретшегося резинового борта на носу, осторожно вытянул ноги до другого борта и стал смотреть на высокое лазуревое небо, чуть подёрнутое белыми мазками лёгких и размытых перистых облаков.

То, что было сейчас давно мной, называлось бесконечностью. Я это и понимал, и ощущал неведомым, непривычным мне чувством. Душа рвалась в родные просторы, туда, откуда явилась и вселилась в меня, земного. Но дом её не здесь. Он там, в вышине, в бесконечности. А здесь ей маятно, тоскливо и одиноко.

Она не может объяснить, зачем её послали сюда, потому и меня не может успокоить. Так было нужно, и она исполнила волю пославшего её. Но знает – придёт срок, и вновь окажется в родном доме, в родных пределах, выполнив до конца порученное ей.

Я лежал и молча, в себе разговаривал с небом. И был уверен – оно меня слышит. Это понимание приходит неожиданно.

Закрыв глаза, мне казалось, что я продолжаю видеть движение облаков, голубизну неповторимого света, льющегося с высоты. Лодка медленно, вольно двигалась по воде, почти не раскачиваясь, и меня это успокаивало до того, что уже не понимал – то ли заснул, то ли грежу наяву.

Очнулся только тогда, когда услышал зовущий голос Георгия. Оказывается, ветерок незаметно подогнал меня к небольшому островку из торчащих над водой пеньков. Нужно было возвращаться к протоке.

Осторожно, с опаской как бы не перевернуться, я вновь сел на поперечное сиденье, взял в руки крохотные вёселки и погрёб вслед за Шелеховым – теперь уже назад знакомым путём к обжитому нами берегу.

4

После обеда Георгий утомлённо заснул. Он вновь закрылся в палатке, живя по давно установленному для себя расписанию.

Я тоже было попробовал полежать, но сон не шёл. Ещё покрутился в палатке с боку на бок, отчего жилище моё на каждое движение отвечало своим беспокойством, трепетанием просвечиваемых жёлтых боков.

Стоило закрыть глаза, как тут же начинались видения либо узкой брововой протоки, с обрушенными поперёк неё деревьями от берега до берега; либо сверкающей ряби озера; либо лазурного неба, расчёркнутого тонкими белыми штрихами высоких облаков.

Понимая, что не засну, вылез из палатки.

Пустынно и по полуденному сонно было вокруг. Солнце поднялось высоко. Лениво перешёптывались деревья у края поляны, едва шевеля ветками под ослабевшим тёплым ветерком. Негромко и неторопливо перекликались птицы, и непонятно было, откуда лилось их пение. Только кукушка далеко от озера, в лесной чаще, долго и настойчиво считала для меня оставшиеся годы. Не сразу, но по проснувшейся в памяти детской привычке стал их считать. Даже без пропущенных первоначальных кукований выходило щедро.

От поляны, вдоль обрыва, почти у самого его края, лишь изредка огибая разросшиеся кругом кусты орешника, уходила слабо нахоженная тропинка. Решил пройти по ней, повидать новые места. Однако далеко не продвинулся – шагов через пятьдесят тропинка закончилась у ещё одного спуска к озеру. Зато сразу за спуском увидел огромных размеров пень, диаметром никак не меньше двух метров. Никогда до этого подобной толщины деревьев видеть не приходилось. Плоскость пня больше напоминала эстраду, небольшую сцену, чем лесную порубку.

Запрыгнув на потемневшую от времени, покрытую мхом, но ещё крепкую, не разрушенную гниением поверхность пня, внимательно огляделся вокруг и убедился, что это был, конечно, дуб исполинских размеров. Ствол его лежал неподалёку, на склоне обрыва среди берёзового молодняка, вершиной к воде.

Кто, как и, главное, зачем спилил это реликтовое дерево, которому предстояло жить ещё не одно столетие, раз прошедшие десятилетия не смогли разрушить его оголённого основания.

Пробираясь сквозь лесные заросли, нашёл ещё один похожий пень, дальше ещё и ещё. Вне всяких сомнений, это были специальные посад-

ки, осуществлённые с неким умыслом в незапамятные времена, если смогли достичь таких немислимых размеров, а не по воле случая самосевом выросшие деревья.

Взволнованный нечаянной находкой, поспешил вернуться на поляну.

Шелехов ещё отдыхал. До следующего утра, когда нужно будет вновь отправляться на Медвежье озеро, ему делать нечего. Мне же следовало наловить плотвичек для скорого обеда, а там и ужина.

Оттолкнув лодку от берега, решил половить рыбу в тех местах озера, в которые утром не заплывал.

Клевало по-прежнему хорошо. Я почти без срывов подсекал плотву и мелкую сорожку, снимал рыбёшек с крючка, осторожно зажимая их прохладные скользкие тельца в кулаке и затем бросая в ведёрко, наполненное водой. Но делалось всё это, можно сказать, механически. Думалось же совсем об ином.

Отчего-то вспоминалось детство и незаслуженные обиды, нанесённые по неразумности родным и малознакомым людям, одноклассникам и преподавателям, тем, кто любил меня и тем, кто был ко мне не добр. Последние, возможно, и стремились причинить боль, но я им ответил своим злом, и оттого оставил в своём сердце нечто, чем сейчас мучаюсь.

Это как в драке – сначала бросаешься на обидчика с полной уверенностью в своей правоте. А после наступает такое глубокое опустошение, такая горечь поднимается в душе, такое разочарование свершившимся, что с радостью многое бы отдал, чтобы произошедшего не было, чтобы всё вернулось назад, до того, когда гнев затуманил рассудок: все сказанные грубые слова, все нанесённые с ожесточением удары... Но исправить ничего не возможно, и гнетущая тоска тяжёлым воспоминанием остаётся в душе навсегда.

Один такой случай произошёл незадолго до поездки с Шелеховым. После небольшого застолья, ехали мы с другом в трамвае. Нам было по пути, машины оставили на охраняемой территории его предприятия – дабы не искушать судьбу перед бдительными гаишниками. Однако искушение нас всё-таки поджидало.

Ближе к кольцевой остановке у железнодорожного вокзала сидевшие на сиденьях задней площадки три развязанных молодых парня отказались оплачивать кондуктору проезд. Пожилая женщина настаивала, парни над ней безжалостно смеялись. Кондуктор принялась их стыдить. В ответ раздались непотребные оскорбления. Народ, оказавшийся всему свидетелем, как принято – безмолвствовал.

И тут что-то во мне замкнуло.

Был бы совсем трезв, то, вернее всего, вместе с другими «благоразумно» бы промолчал. А тут...

– Да сколько же можно терпеть! – вырвалось у меня.

Первым ударил того, что стоял рядом с кондуктором и особенно отвратительно сквернословил. В это время трамвай подошёл к остановке, двери открылись, и так получилось, что парень вылетел наружу. Со вторым пришлось немного повозиться, но в итоге и он вылетел из трамвая. Заметил, что мой товарищ неуклюже лежит на полу и крепко держит на себе третьего, который пытается его ударить кулаком в лицо. Этому досталось меньше всего. Схватив его сзади за куртку, я оторвал парня от товарища и просто вышвырнул вон.

Парни собрались у открытой двери, орали оскорбления, но подняться по ступенькам не решались. Кондуктор тоже с обвинениями напустилась на меня. Водитель трамвая закрыла двери, проехала за угол и там вновь их открыла, выпуская нас.

Уже на улице, мой товарищ горько сказал:

– Зря ты это сделал... Может быть, они нормальные парни, только покоражились.

Я и сам вдруг понял, что зря. Никому эта моя справедливость не была нужна. Ни пассажирам, которые поспешили быстрее уйти, ни кондук-

тору, ни моему товарищу. И такое опустошение после драки ощутил в душе – не передать.

Вроде бы попытался совершить справедливое дело, а в итоге что-то разрушил в самом себе, и от этого тягостно, гадостно на сердце.

После произошедшего зарёкся за кого бы то ни было лезть в заступничество. Но, конечно же, не сдержался. Как и от ненужных драк.

Вот с такими думами-воспоминаниями таскал я на удочку мелкую рыбёшку.

Вновь день клонился к закату. Появившиеся кучевые облака окрасились густым розовым цветом, и лишь самые низкие из них ещё отдавали синевой.

Когда вернулся к поляне, давно проснувшийся Георгий готовил ужин. Вновь быстро пожарена пойманная мною рыба, хотя сам Шелехов предпочитал домашние бутерброды и закуски в пластмассовых баночках.

Спросил его про увиденные поваленные дубы-гиганты.

– Да, они действительно были посажены по распоряжению одного из русских государей. А спилены при подготовке территории к затоплению. Но, как видишь, полностью планы осуществить не удалось. Только зря замечательные деревья нерадиво погубили.

После чая Георгий отправился один покидать спиннинг. Я, пока ещё позволял дневной свет, принялся за чтение книг, присланных на конкурс литературной премии.

Но довольно скоро на поляне стусились сумерки, потому пришлось залезть в палатку и продолжить чтение при свете фонарика.

Последнее, что ещё услышал снаружи, прежде чем глаза сами собой утомлённо сомкнулись: шаркающие звуки резиновых сапог по траве возвратившегося с рыбалки Шелехова; позвякивание посуды на раскладном столике под ольхой; визгливое движение молнии, застёгивающей полог соседней палатки.

5

Ночью начался дождь.

Недаром постепенно весь прошедший день собирались на небе, тяжелели и кучнели облака.

Капли дробно барабанили по палатке. Сквозь сон этот звук отчётливо слышался, но открывать глаза не хотелось. Лишь ненадолго приоткрыл полог, и снова улёгся на надувном матрасе, сонно провалился в забытье. Только на всякий случай подальше отодвинулся от боковой стенки, чтобы она не промокла.

Ветер разбушевался не на шутку. Скрипели раскачиваемые им вытянутые к небу ровные и высокие коричневые стволы молодых сосен. Шумела листвою, вольно раскинувшая ветки на краю поляны низкорослая, коренастая берёза.

Над крошечной и такой ненадёжной палаткой что-то непрерывно ухало и свистело. Но странно – под тонким просвечивающим слоем искусственной ткани, через которую видно, как снаружи дождевые капли стремительно скатываются вниз, я ощущал себя уютно, словно находился в добротном и тёплом доме.

Только к позднему утру ветер поослаб, дождь перешёл в мелкую моросящую пыль. Небо затянуло непроглядной серой пеленой, через которую не мог пробиться ни единый луч солнца.

И хоть заранее решено, что сегодня день отъезда, настроение у меня всё ещё не было испорченным.

Вчера перед сном решил, что утром для своих домашних наловлю рыбы, угощу вкуснятиной по рецепту Шелехова. Но в разыгравшуюся непогоду и думать об этом было нечего.

Георгий, напротив, собрался на Медвежье. Хочешь – не хочешь, а надо снимать снасти.

Поручив мне сборы к отъезду, Шелехов отправился в путь.

С тоской и жалостью, сочувствием и переживанием смотрел я ему вслед: на его съёжившуюся от холода спину; поджарую и сейчас казавшуюся такой маленькой, слабой фигуру, закутанную в чёрную накидку, осыпаемую дождевой моросью; на бьющие в борт лодки поднятые ветром волны, сопротивление которых приходилось преодолевать – для этого нужны немалые усилия.

Но вот Георгий достиг противоположного берега, вытащил лодку на сушу, поволок её за верёвку по знакомой тропинке и скрылся из вида в мокрых зарослях ивняка и высокой травы.

Я начал разбирать палатки, сдувать матрацы, свою лодку, складывать в одно место под ольхой удочки, раскладной столик, посуду, газовую плиту и прочие вещи, которых оказалось на удивление много, и трудно было представить, что все они уберутся в не такую уж и просторную по своим габаритам «Ниву».

Не забыл и про полиэтиленовый мешочек со вчерашним своим уловом, который висел тут же на суку ольхи. В другую погоду вороны могли его ранним утром заметить и распотрошить, но в дождь видно и им не до вольного облёта территории.

За этими хлопотами прошло немало времени. Дождь то переставал моросить, то принимался с удвоенной силой. Под сапогами хлюпала раскисшая земля, в неглубоких промоинах появились лужи.

Пока работал, не чувствовал промозглого холода, но теперь, когда наступило невольное безделье ожидания возвращения Шелехова, становилось зябко. Чтобы хоть как-то согреться, вопреки всем запретам, да и какой вертолёт полетит в такую непогоду выискивать нарушителей строгих распоряжений, с трудом, но развёл небольшой костерок из найденного неподалёку не совсем промокшего хвороста. Он лежал большим завалом в лесу, и внизу ещё оставался довольно сухим.

Огонь сначала несмело, лениво захватывал ком сухой газеты, с опаской облизывал тонкие сыроватые веточки, что наломал я со ствола недалеко росшей ёлочки, но затем, осмелев, начал разрастаться, с аппетитом потрескивать смоляной еловой порослью, и, наконец, уже без испуга, по-хозяйски затрещал более толстыми сучками.

От нечего делать собирал вокруг поляны оставленный прежними рыбаками всевозможный мусор – коробки из-под сигарет, пластиковые бутылки и посуду, упаковки от импортных рыболовных снастей – и бросал в костёр.

За этими хлопотами, действительно, согрелся. Шелехов же всё не появлялся.

Нет, за Георгия не беспокоился, он не пропал бы в любой ситуации. А вот мне в одиночестве на поляне среди незнакомого леса в непогоду становилось тоскливо.

Зато как обрадовался, когда на противоположном берегу появилась знакомая лодка, которую с натугой подтащил к воде мой товарищ. Всё время, пока лодка пересекала озеро, я стоял у кромки воды, рябившей от часто падавших в неё дождевых капель. В это время не было ничего важнее, чем встретить Шелехова – словно тот возвращался из неведомых далей, из космоса.

Лодка уткнулась тупым резиновым носом в отмель. Георгий шагнул за борт. Вязкое дно издало чмокающий звук под его высоким сапогом, отсевичающим перламутрово-чёрным отливом, словно обрадованно поцеловало долгожданного гостя. В это время упруго ударила хвостом в лодке здоровенная щука, больше похожая на не выросшего крокодила.

Шелехов на двух руках, с трудом прижимая рыбину к груди, словно тяжеленное бревно, вынес её к костру.

– Как с ней справился?! – воскликнул я, оглядывая лежащее на мокрой траве пятнистое чудовище, и одновременно вспоминая, с каким трудом сам вытягивал из воды щуку совсем небольших размеров, по

сравнению с этой. Та рыба, в сравнении с нынешней, выглядела неразвитым, неокрепшим мальком.

– Пришлось повозиться, – немногословно, утомлённо ответил Георгий и остановившись у костра, протянул уставшие мокрые руки к огню.

Попив напоследок чаю из термоса, который с вечера заварил Шелехов, стали тушить костёр, зачерпывая котелком из озера помутневшую воду. Загружая машину, внимательно проверили, всё ли забрали.

По лесу пробирались с опаской. В овражке, где и в сухую-то погоду земля оставалась волглой, сразгону преодолели большую лужу и с натугой вскарабкались по скользкому склону холма.

Щётки на лобовом стекле, часто постукивая, смахивали расплюснутые водяные следы от дождевых капель, и тогда становилось видно понишую, намокшую придорожную траву, спрятавшую под собой лесные цветы. Одна пижма бесстрашно желтела, напоминая о солнце и тепле.

Но стоило выбраться на трассу, как напряжение спало, сотовый телефон ожил непрерывными звонками, да всё из дальних городов – Минска, Архангельска, Санкт-Петербурга... Словно там узнали, что дни моего отдыха закончились и пора приступать к оставленной работе. До этого телефон молчал, давая побыть в одиночестве с Шелеховым и с самим собой.

Прощаясь у моего дома, Георгий предложил и щуку-гиганта забрать в качестве рыболовного трофея, но я категорически отказался.

Во-первых, это чужой трофей, и я на него не имею никакого права. Во-вторых, что бы я стал с ней делать? Таковую рыбу правильно разделать, и то необходима особая сноровка, опыт, знания. В-третьих – мне и тех щук, что щедро навалил в пакет Шелехов, хватает с лихвой.

После проведённых дней вместе на рыбалке, я начал называть Георгия своим другом.

6

Чем больше узнавал Георгия, тем отчётливее понимал – своими руками он мог сделать, исправить, починить всё, что угодно. Например, разобрать импортный проигрыватель, затем вновь собрать и заставить работать; отремонтировать пианино, когда, казалось бы, неприятность неминуема, потому что слушатели начали собираться в зале, а инструмент в ненадлежащем состоянии; или сделать чучело из щучьей головы со страшной зубастой ризинутой пастью для оригинального подарка кому-то на день рождения.

Он профессионально фотографировал, используя для этого хорошую японскую камеру, и успешно писал статьи в издания для рыболовов и заметки с репортажами для местных газет.

Складывалось впечатление, что к Шелехову можно обращаться по любому вопросу: всё он решал без суеты, но быстро и качественно. Отказа в помощи от него услышать невозможно.

За короткое время я так прикипел к нему душой, что ощущал, будто мы знакомы целый век. Конечно, в немалой степени на это повлияли наши поездки за Волгу. Георгий показывал всё новые и новые места, поражавшие своей необычностью и красотой. Я и представить не мог, что разлив водохранилища оказался столь обширен и таинственен, создав множество островов, протоков, заводей, озёр, болотистых низин и торфяных возвышенностей с чахлыми берёзками и весёлыми недолговечными ёлочками.

В рыбном промысле Шелехов являлся невероятно удачливым добытчиком. Никогда не полагаясь на случай, он точно знал, где и когда какая рыба клюёт, потому без солидного улова из поездок мы не возвращались.

Спрашивал у друга – откуда набрался этих знаний? Но ни разу внятного объяснения от него не услышал. И не из-за того, что Георгий что-то скрывал – было похоже, что он действовал по наитию, как говорят в народе, по чутью.

Продолжались наши не очень частые, но всегда желанные встречи.

Как-то уже в октябре, в начале месяца, словно чувствуя, что это будет наша последняя совместная поездка за Волгу, предложил Шелехову поехать на ту поляну, где Георгий впервые приобщил меня к своей рыбалке.

– Да какая сейчас поклёвка, – скучно ответил друг, – трава ко дну опустилась.

Не очень понимая, что это значит, я ещё раз настойчиво попросил отправиться к озеру, и Георгий нехотя согласился – как бы потакая неразумному желанию близкого человека.

Мы приехали на уже оставленное рыбаками место, и потому оно выглядело по-особенному пустынным, словно обиженным. Это ощущалось, но почему – не высказать, словами не объяснить. Вернее всего, это что-то внутри меня, какая-то скрытая память, тосковала о недавно минувшем.

Дни стали короткими, осень съела световое время, потому не задерживаясь, приготовили лодки – и на воду.

Действительно, озеро внешне значительно изменилось, поскучнело, стало больше серой свободной воды, в которой не разгуливали стайки плотвы. Я принялся за рыбалку на прежних местах. Клевало редко, с ленцой, но всё-таки рыба попадалась и ведёрко моё не так быстро, но понемногу наполнялось.

Шелехов со спиннингом сразу перебрался на большое озеро. Со временем мне стало скучно одному в пустынном замкнутом пространстве, и я тоже перетащил лодку через лесок.

На большой воде и изменения выглядели значительнее. Ветерок мучил, отгоняя лодку то от одного места, то от другого. Трудно к нему приноровиться, чтобы удерживаться на понравившемся участке у ещё остающихся наплаву листьев кувшинок.

Здесь клевало, вроде бы, повеселее, поазартнее, но и крутиться на воде приходилось больше. Прохладный порывистый ветер хозяйничал, неожиданно налетал оттуда, где водная гладь скрывалась вдали, уходя к Волге, потому следя взглядом за поплавком, я вынужден был крутиться на узком деревянном сиденье, подгрести лодку, бросив удилище под ноги и взявшись за крохотные вёселки, если моё судёнышко уж совсем отдалялось от приглянувшегося места.

Якорей для рыбалки на озёрах у Шелехова не предусматривалось. Да и не та это рыбалка, чтобы стоять в одном месте. Тут задача иная – после вытасненных пяти-шести рыбок прекратился клёв, значит, двигайся дальше, тут удачи больше не будет.

Георгий вдалеке от берега, на чистой воде неумоимо забрасывал спиннингом блесну. Но удачи не было. Да он, похоже, на неё и не надеялся. Поехал только ради меня.

Через некоторое время Шелехов направился в мою сторону. Проплывая мимо, сообщил – была одна поклёвка, да и та сорвалась. Теперь он отправляется на поляну.

Я вновь остался один, только на сей раз посреди огромной водной равнины, и знакомой поляны на виду не было.

Небо надо мной высокое и пасмурное, но не сырое и дождя не обещающее. Лес по берегам тёмный, местами жёлтый и красный яркими пятнами осенней листвы.

Оглядывая берега, невольно залюбовался, ощущал, что душа совершенно по-особенному впитывает увиденное сейчас, созерцает, как некое великое чудо созданного мироздания.

В какой-то миг, в расчищенный от серой мути участок неба хлынул несколько приглушённый свет клонящегося к закату солнца, и тогда прибрежный лес вспыхнул ярчайшим разнообразием красок – золотом и пурпуром, охрой и изумрудом со всеми возможными переходящими оттенками. Вода заголубела, отражая участок очистившегося неба, ветер стих, даже замер.

Я всем своим существом почувствовал, что очутился в ином, неведомом, первозданном мире, где господствует особенная тишина, которая, может быть, только и была на земле во дни её сотворения. Эти краски, эта тишина властвовали над пространством большого озера. И казалось, что сам Господь ступил на землю.

Трудно определить, сколько времени длилось ощущение чуда.

Угас солнечный свет, по-прежнему затянуло непогодными облаками небо. Погасли краски невероятной яркости, неведомой красоты. Металлически серый, тяжёлый цвет приобрела вода и заволновалась, заходила покатыми волнами. Зашумел проснувшийся ветер в коричневых сухих камышах, и те ломко стали постукивать друг о друга затвердевшими погибшими листьями.

Надвигающийся громкий шорох доносился со стороны леса, с того края, где на поляне стояла «Нива» Шелехова. Это движение дождя, который издалека приближался к озёру, но всё не направлялся к берегу, а чего-то ждал, словно хотел окончательно удостовериться, что я ещё на воде.

Ливень хлынул отвесно. В течение нескольких минут промочил до нитки. Гребя к переходу через лесок, я подумал, что переодеться не во что, палатки не поставлены...

Быстро перетащив лодку, вновь погрёб – на этот раз к поляне. А дождь, словно в отместку за что-то, продолжал хлестать по лицу, плечам, спине...

Ночлег Георгий устроил в машине. Оказывается, он и не взял с собой палаток. Разложив сиденья, поместил на них что-то наподобие раскладного фанерного щита, а сверху спальные мешки.

Сняв с себя сырую одежду, забрался в тепло спального кокона и затаился, ощущая, как быстро проходит озноб в теле и оно, согреваясь.

Мы лежали на уровне окон автомобиля. За стёклами уже ничего не возможно разглядеть. Только струйки дождевой воды сползали вниз, изредка перебиваемые штрихами ударившего ветра. А дальше – темнота и шум невидимого леса да барабанная дробь капель по крыше автомобиля.

Мы совсем немного поговорили. Подсвечивая фонариком, лёжа съели по бутерброду, запив чаем из термоса. Есть и пить было неудобно, потому немного утолив голод – затихли. Георгий тихо заснул – будто бы ненароком замолчал среди разговора. А я думал о том, что произошло со мной сегодня, почему душе так восторженно и горько одновременно. Какой главный вопрос она услышала? Вернее даже не вопрос, а только дальний отголосок его.

Что есть наша жизнь, для чего мы здесь? Не ради ли того, что увидел сегодня? Необычно и тоскливо рвалась душа моя в эту поездку – такую странную и неразумную в оценке Шелехова.

Мне был дан великий дар ощутить гармонию, которую никогда до этого в своей жизни я не испытывал. И которую тут же у меня отнял хлынувший дождь.

В повседневности своей мы довольствуемся ничтожным. Наши нервы забиты суетой тщеславных достижений, жесткостью окружающего мира. А душа жаждет иного, томится без него.

Не будь Шелехова, разве бы я когда-то пережил то, что случилось со мной сегодня?..

В машине по-особенному уютно. Если же представить, что стоит она в одиночестве посреди леса в десятках километров от всякого людского жилья, у края разлившейся Волги, омываемая напористым осенним дождём, а в ней всего два человека, укрываются от непогоды – то становится необычайно дорог этот надёжный приют.

Как можно дольше я старался не заснуть, лелея в себе это необычное ощущение покинутости, одиночества и... настоящего счастья.

Утром машина не завелась.

Георгий ковырялся в двигателе, снова пробовал – нет. Я, хоть и не показывал вида, но заволновался. Ситуация не шуточная. Помочь тут никто не сможет.

Но не таков Шелехов. Отдохнув и подумав, он снова вышел под дождь, что-то подкрутил, на что-то надавил, и по раскисшей лесной дороге мы тронулись в обратный путь.

Так закончилась лучшая рыбалка в моей жизни, после которой Георгий неожиданно и надолго пропал.

Он ещё помог перевести редакционный архив, книги, картины в новое более просторное помещение – и как в воду канул. Я терялся в догадках. И был чрезвычайно обрадован, когда уже в новый кабинет, но также по-хозяйски он однажды зашёл.

Рассказал без печали, что похоронил жену, жил у сестры в Москве, но недавно вернулся в Нижний Новгород. Узнав, что в нашем зале даёт концерт известный в городе скрипач, пришёл послушать.

Я утешился надеждой, что теперь у нас с Шелеховым будет всё по-прежнему. Но он снова исчез.

Опубликовал в местной газете репортаж о прослушанном концерте, но сам у меня больше не появился.

Поиски по известным телефонам не помогли. Они или молчали, или оказывались уже не действующими.

Георгий как внезапно появился в моей жизни, так же внезапно и исчез.

Правда, после нескольких лет молчания, пришло мне на телефон одно поздравление с праздником вроде бы от Шелехова, с его ожившего номера. Я обрадовался, тут же ответно поздравил Георгия и спросил, куда он пропал.

Но ответа не последовало.

Ни тогда, ни за все прошедшие годы.

5 – 9 июня 2022 г.
д. Кунавино